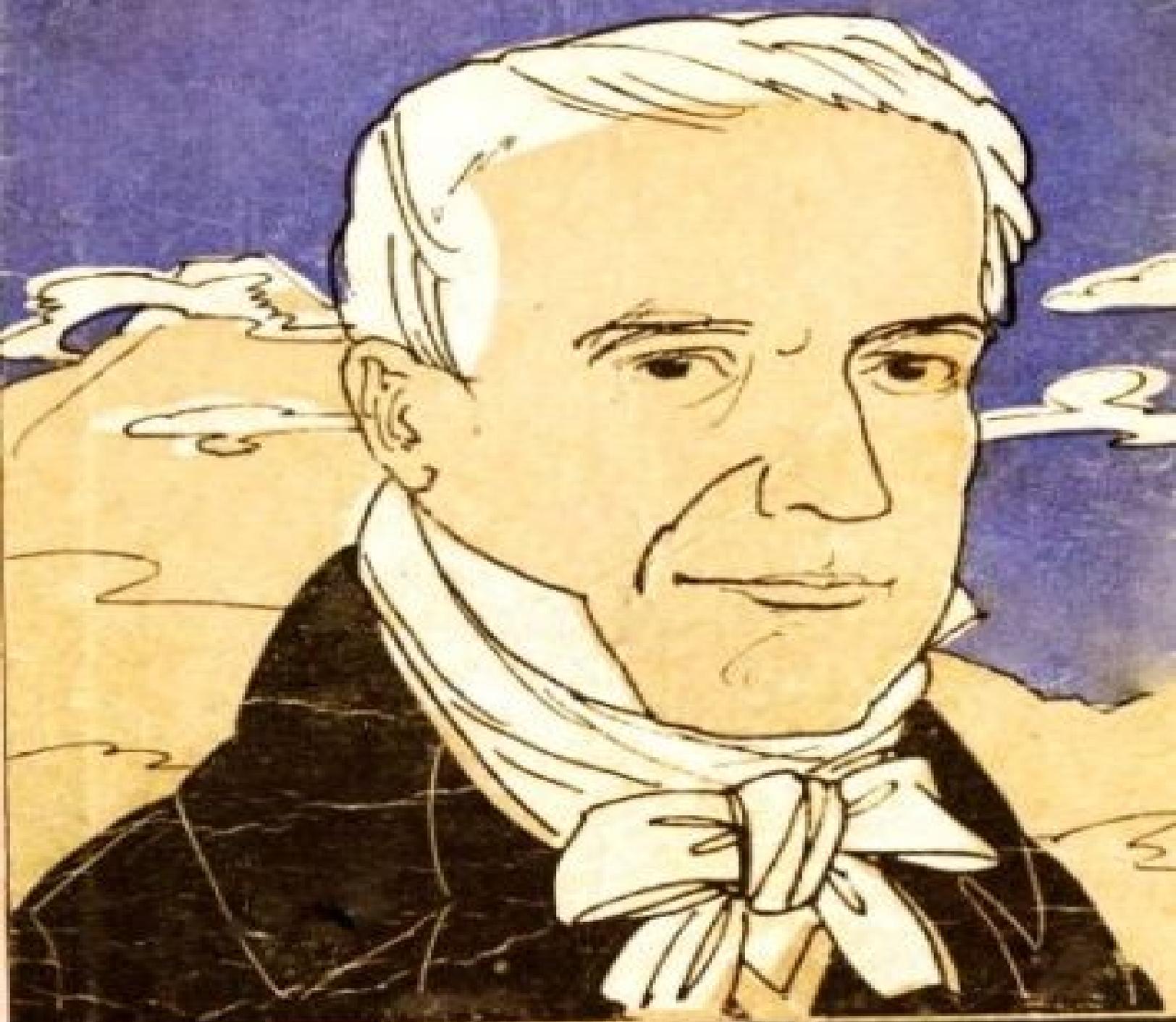


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Вадим Сафонов

ГУМБОЛЬДТ

Annotation

Александр Гумбольдт родился за двадцать лет до Великой французской революции, а умер в тот год, когда вышли из печати начальная часть книги «К критике политической экономии» К. Маркса и «Происхождение видов» Ч. Дарвина.

Между этими двумя датами — целая эпоха, эпоха величайших социальных и промышленных революций и научных открытий. В эту эпоху жил и работал Александр Гумбольдт — ученый огромного размаха — по своим научным интересам, по количеству сделанных открытий и выпущенных трудов, должно быть последний энциклопедист в науке.

Великий натуралист был свидетелем заката естествознания XVIII века и рождения и расцвета естествознания новой эпохи. Рушились обветшалые взгляды и теории — в этом огромная заслуга и Гумбольдта. Создавалось новое научное мировоззрение — и снова приходится говорить о значении его замечательных работ. Будучи рождены в этот переходный период, некоторые идеи великого натуралиста оказались устаревшими и ненужными, как только наука нового времени твердо встала на собственные ноги. Но без них она никогда не сумела бы этого сделать.

Вот почему благодарное человечество бережно хранит творческое наследие одного из своих славных сынов — и ту его часть, которая уже принадлежит истории, и ту, которая продолжает жить в науке до наших дней.

Книга Вадима Сафонова — увлекательная повесть о необычайной жизни и трудах замечательного немецкого натуралиста Александра Гумбольдта, столетие со дня смерти которого отмечают в этом году народы всего

мира. Повесть впервые напечатана в 1955 году в книге В. Сафонова «Люди великой мечты» под заглавием «На горах — свобода!»

- [Оглавление](#)

-
- [Три принца и герцог](#)
- [Замок Тегель](#)
- [Прекрасная Генриэтта](#)
- [Студент](#)
- [Мир, всплывший из воды, и мир, рожденный огнем](#)
- [Гордиев узел](#)
- [«Республика должна выполнять гигантские планы!»](#)
- [Гумбольдт покидает отечество](#)
- [Фрегат «Пизарро»](#)
- [Остров драконова дерева](#)
- [Океан](#)
- [Жизнь всеобоживляющая](#)
- [Золотая страна Эльдorado](#)
- [Касикьяре — водяной мост](#)
- [Снег и огонь](#)
- [Подземные сады Атахуальпы](#)
- [Домой](#)
- [Гумбольдт разбирает чемоданы](#)
- [«Картины природы»](#)
- [«Озаряющий весь мир сверкающими лучами»](#)
- [Россия, Урал, Алтай](#)
- [Огнедышащая гора Бей-Шань](#)
- [Земля Гога и Магога](#)
- [Основные даты жизни и деятельности](#)
- [Некоторые дополнительные пояснения](#)
- [Обзор литературы](#)
- [Об авторе](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

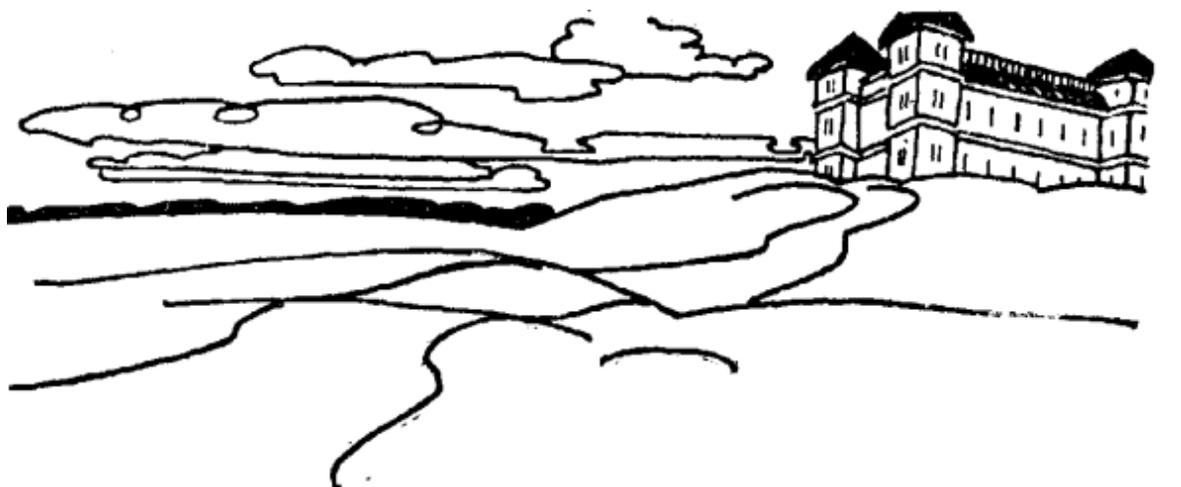
Оглавление



В. Сафонов **Александр Гумбольдт**

*Из всех человеческих интересов выше всех стояли для него научные интересы...
Остальные были им подчинены,
материальные играли для него
наименьшую роль.*

А. Гумбольдт о себе.



Шестьсот тридцать шесть книг — исследований, трактатов — увесистых томов по несколько сот страниц.

Книги по геологии, географии, горному делу, Метеорологии, астрономии, физике, химии, физиологии, зоологии, сравнительной анатомии, археологии, этнографии, истории, политической экономии. Книги о вселенной, о соляных источниках и о флоре лишайников на скалах.

Весь круг знаний о земле, о мире. Целая библиотека.

Сколько ученых создавало ее? Станный вопрос! Кто пишет библиотеки? Десять... двадцать авторов...

У этих книг один автор.

Это почти беспримерный памятник человеческого труда.

Биографы писали об этом человеке:

«Остается изумительным и непонятым, как он мог вместить такую массу знаний и не быть ими раздавленным».

«Это один из тех гигантов, которых иногда посылает провидение, чтобы дать могучий толчок человечеству...»

Судьба Александра Гумбольдта необычайна. Необычайны и превращения этой судьбы.

Он достиг славы, какая вряд ли при жизни выпадала на долю еще кому-либо из ученых. В честь его выбивали медали. В прозаических и стихотворных одах высказывалась уверенность, что солнце Гумбольдта будет вечно сиять на небе науки и человеческой культуры. Имя его носят горы в трех частях света, озеро и река в Америке, ледник в Гренландии, холодное течение у берегов Перу, несколько видов растений, минерал и кратер на Луне.

Над его трехтомным жизнеописанием, «первой попыткой» обзора того, что он сделал, трудились одиннадцать крупнейших специалистов, потому что, как оговорено в предисловии, никакому отдельному человеку не под силу обнять деятельность универсального гения.

Он умер. Отзвучали торжества, которыми было отмечено столетие со дня его рождения. И, почти следом, ничего не осталось от всей этой гремящей славы.

Книги Гумбольдта пылились в хранилищах; их брали в руки лишь сочинители весьма ученых научно-исторических трудов. Трехтомное жизнеописание оказалось единственным; в последующие полвека о Гумбольдте рассказывали «для юношества» только несколько тощих компиляций.

И это внезапное, полное забвение не менее удивительно, чем прижизненные фанфары. Точно наука, для которой работал Гумбольдт и где, как полагали, след его не сотрут века, отталкивала память о нем, о его работе и обо всех его открытиях. Гумбольдт? Ах, да: наивные времена естествознания... Так, с усилием вспоминали про того, кто недавно именовался «вторым Колумбом» и — еще пышнее — «Аристотелем девятнадцатого столетия».

Один из наиболее кичливых представителей этой позднейшей науки однажды, рассуждая о Дарвине, о замечательнейших натуралистах XIX века из дарвиновской плеяды, об их мыслях, выводах, их понимании цели знания, отрубил сплеча: «Хлам, которому место в окне старьевщика!» Еще заносчивее он повторил бы свою издевку по поводу науки Гумбольдта, если бы она не была для него вообще пустым звуком.

Прошли годы. Пустым звуком стало имя надменного судьи, вынесшего этот глумливый приговор.

Поднялась новая наука, наука небывалого могущества и неведомой еще смелости — наука нашей с вами Родины, читатель. Она оглянулась на все лучшее, что добыто до нее человеческим гением, и приняла это как наследница.

Бережно принимает она и дело Гумбольдта. Уже в столетнем отдалении мы видим его образ. Сложен путь Гумбольдта. Дивились празднику его жизни — долго оставались слепы к трагедии ее. Немало было у него слабостей — и чисто человеческих, и в его работе ученого. Но обладал он вместе с тем силой исполина, какая не снилась пигмеям, тщившимся низвергнуть и навсегда похоронить его.

Изменились судьбы его народа. Новые люди пришли в немецкую науку, науку Гумбольдта.

В 1950 году пленум Социалистической единой партии Германии назвал Гумбольдта в числе тех, кем гордится страна.

Когда был воссоздан после войны университет в Берлине, великое имя Гумбольдта было соединено с этим университетом — старинным и обновленным, демократическим университетом германской столицы.

Три принца и герцог

Младенец лежал в колыбели. В белых с голубым оборочках и дорогих кружевах он должен был походить на ангелочка; впрочем, родители избегали сентиментальных сравнений.

Роскошь дома вообще мало соответствовала скромной фамилии обитателей. Она не вызывала в памяти ни гордых замков, ни славного ряда предков — просто кто-то из этих предков звался, должно быть, Гумберт.

Гумбольдты вели свой бюргерский, потом чиновничий род из Нижней Померании. Дедушки и прадедушки, насколько сохранились о них известия, предпочитали, однако, устраиваться при дворах — все равно каких. И занимали по большей части довольно незавидные должности мелких советников, но зато придворных советников, советников при «особах» — все равно каких: маркграфов, властителей крошечных герцогств, в случае особенной удачи — при прусском короле.

Гумбольдт-отец сперва служил в драгунах у генерала Платена. Он служил отлично, на нем молодецки сидел мундир, и у него все-таки был уже дворянский герб — дерево, три серебряные звезды и рыцарь с поднятым мечом, осененный орлиными крыльями. По крайней мере одна из этих серебряных звезд, несомненно, оказалась счастливой: он, вполне в традициях рода, попал в адъютанты к герцогу Брауншвейгскому.

Шла Семилетняя война. Адъютант скакал из ставки герцога в ставку Фридриха II. Ширококостные прусские крестьяне, согнанные из обезлюдевших деревень, делали артикулы в три темпа и, с рубцами от

шпицрутенов на спине, маршировали, не сгибая колен, выпучив глаза и потряхивая косичками, под дула пушек. Это было время, когда «великий король» носил в кармане склянку с ядом и признавался начальнику штаба, что самое удивительное — это их короля и генералов, безопасность посреди собственного войска.

Победы Фридриха над саксонцами и австрийцам сменились страшными разгромами во встречах с русскими. За Гросс-Егерсдорфом и Кунерсдорфом (где из 48-тысячного Фридрихова войска осталось едва три тысячи) последовал Берлин: русская армия вступила в прусскую столицу.

Смерть Елизаветы и воцарение в Петербурге голштинца Петра III выручили Фридриха.

Александр Георг Гумбольдт скинул свой мундир, который не принес ему ни славы, ни титула, и вышел в отставку со скромным чином майора.

Но его серебряная звезда не угасла. В 1766 году отставной майор сделал наиболее удачный шаг в своей жизни. Он был весел, остроумен, блестящ, теперь даже с придворным лоском, в сущности мягкий и добрый человек, в 46 лет еще красивый и по-военному статный, — его выделила из толпы претендентов на ее руку вдова сановника фон Гольведе. Вдова происходила из знатного рода фон Коломбов. У нее был сын — мальчик с титулом барона фон Гольведе. А дом в Берлине входил именно в ее приданое, так же как поместье Рингенвальде и замок Тегель.

Женитьба сразу изменила положение майора. Он получил теперь возможность собирать у себя, в Тегеле, избранное общество, а в промежутках перестраивать этот замок со вкусом, об утрате которого, как утверждала потом в некрологе «Фоссише Цейтунг», не перестанет скорбеть человечество.

В 1769 году фрау Гумбольдт, родившая уже майору два года назад сына Вильгельма, разрешилась от

бремени вторым мальчиком. Это произошло 14 сентября, в берлинском доме, Егерштрассе, 22. Новорожденного назвали Фридрихом Вильгельмом Генрихом Александром. Его крестил придворный проповедник Зак, и в книге расписались как восприемники наследный принц прусский Фридрих Вильгельм, герцог Фердинанд Брауншвейгский, еще два принца, три министра, два генерал-лейтенанта и пять дам высшего света, графинь и жен министров.

Как обычно, во время семейной трапезы восприемники стали предсказывать судьбу младенца, подобно феям в сказке о «Спящей царевне».

— Он покажет врагам, что такое пруссак. За это я поднимаю бокал! — провозгласил наследный принц королевства.

— Он укрепит трон и, не сомневаюсь, умножит богатства своих родителей, — добавил просто принц, почтительно склоняя голову в сторону будущего короля.

— Он будет фельдмаршал! — предсказал герцог Брауншвейгский и окинул снисходительным взглядом майора-отца.

— Он будет похож на вас, майор, — утешительно шепнула придворная дама, немного захмелев. — Я так и вижу его в зале прекрасного замка, в вихре танца, с бантом в косичке и алмазными пряжками на туфлях. Он будет счастлив: он женится на княгине.

Замок Тегель

Замок Тегель отделяют от Берлина два часа езды в коляске по сосновому лесу. Река Гавель тут расширяется, она лениво сочится в камышах среди бесчисленных островов, над которыми носятся весной и осенью тучи уток. На дальнем берегу — городок Шпандау и крепость.

В Тегеле никогда не переводятся гости. Даже наследный принц время от времени наезжает сюда. Майору Гумбольдту есть перед кем погордиться своей новинкой — шелководством или архитектурными предприятиями, новой трубкой и неиссякаемым запасом старых походных историй. Он человек живой, общительный, очень деятельный, многие вещи в мире могли бы заинтересовать его. Но... этот придворный воздух, аромат лести, мужских духов, благосклонное «ты» из принцевых уст, бряцание шпор... Нет, все-таки он, наследник полудюжины поколений гофратов, не может без этого...

А хозяйка замка суха и подтянута. Очень решительна, с твердой и властной рукой. Майор побаивался шелеста строгих, закрытых платьев своей Супруги. Ее представление о долге сходилось с тем, которое развивал тайный советник Кант с кафедры университета в Кенигсберге. И когда она высказывалась на эту тему, ее супругу казалось, что перед ним цитируют строевой устав.

«Долгов» было и воспитание детей. Конечно, оно должно быть практичным и целесообразным. Следовало привить детям понимание того места в жизни, которое предназначено им по рождению и придворным связям. Танцы, фехтование, искусство легкой болтовни — то, что стали обозначать французским словом «козери». И,

конечно, обучение всему необходимому, чтобы человек высокого положения в обществе никогда не ударил в грязь лицом.

Если это «долг», то — надо отдать справедливость суровой жене майора — долг этот она выполнит лучшим образом. У детей будут отличные учителя, сколько бы они ни стоили, педагоги, которые разберутся в том, что соответствует «духу века».

Только что же именно ему соответствует, этому «духу»?

Не так легко уловить его сущность. Нечто странное творилось с ним.

Добрый король, любивший игру на флейте, французскую кухню и беседы о верховных правах разума за ужином в своем загородном замке Сан-Суси, требовал в указах, чтобы юношество воспитывалось по-христиански, в духе истинного страха божия. Король Фридрих, говоря по правде, весьма подозрительно поглядывал на немецкие университеты, мудрствовавшие о вещах, бесполезных для управления Пруссией и выправки ее солдат. Французского же вольнодумного вольтерьянства не выносил; недаром он выгнал вон самого Вольтера, которого неосторожно пригласил было к себе, как истинно просвещенный монарх.

Но «дух века», очевидно, вышел из подчинения шестидесятилетнему королю.

Пруссия была мала, вокруг раскинулся широкий мир.

Там, за Пиренеями, дым костров инквизиции еще поднимался к небу Севильи. А во Франции уже явно колебался древний трон Бурбонов, на который успели взойти шестнадцать Людовиков. И свободомыслие носилось в клубах кнастера на немецких студенческих пирушках, проникало даже в берлинские салоны...

Салонные краснобаи подтрунивали над уютной вольфовой метафизикой, согласно которой «кошки были созданы, чтобы пожирать мышей, мыши — чтобы быть

пожираемыми кошками, и вся природа, чтобы доказать мудрость творца»^[1]. Молодежь восхищалась «Гамбургской драматургией» Лессинга, уничтожавшей надутую торжественность псевдоклассического искусства, и гениальными дерзостями молодого Гёте. Повсюду ссылались на Руссо. Все заговорили о «естественном воспитании».

Базедов, внезапно ставший знаменитым, основал в Дессау целый «Филантропин» — «школу любви к человечеству», где пансионерам прививалась мудрость «Эмиля»^[2], помноженная на правила поведения немецкого бюргера.

В Потсдаме остановился полк принца прусского. Молодой священник произносил во время церковных служб красноречивые проповеди. Глаза его горели. Он говорил об обязанностях не только воина, но и человека. С ним искали знакомства. Потсдамская знать вступала с ним в беседы. Его представили майору Гумбольдту.

— Как вы смотрите на филантропические идеи воспитания юношества? — спросил майор.

— О, Базедов! — восторженно сказал проповедник. — Бессмертная душа человека склонна к добру и все же подобна воску или чистой доске. Учитель пишет на ней. От него зависит образовать умы, готовые к великим делам. От него зависит уничтожить зло и жестокость, отягощающие мир!

Так проповедник полка принца прусского Иоахим Генрих Кампе стал воспитателем в Тегеле. Он сажал деревья и, прогуливаясь по аллеям сада, подобно древним философам-перипатетикам, рассказывал затем своим питомцам — юноше фон Гольведе и двум Гумбольдтам, из которых одному было три с половиной года, а другому полтора, — про семь чудес света и про бесстрашных путешественников. Вечерами у копящей свечи в своей одинокой комнате учитель писал о Робинзоне — более чувствительном и сладкоречивом,

чем у Дефо, близком к прекрасной природе и нашедшем потерянный рай.

Он писал и думал, что с момента, как будет отпечатана его книга, тщетны станут усилия деспотизма подавить разум. Глаза его пылали. В чужом доме при свете чужой свечи он проповедовал мир между волками и овцами, твердо уверенный, что слова его приведут в движение все сердца — в том числе и сердца хозяев Тегеля.

Его уволили из замка раньше чем через шесть месяцев.

Кунт был очень бедный и очень молодой человек. И университет он бросил из-за бедности. Но зато он отличался примерным трудолюбием и благонравием. И это украшало его: всем было очевидно, что он подает надежды.

Кунт понравился в Тегеле больше других воспитателей.

Вскоре он стал не только воспитателем.

Когда залы Тегеля наполняли гости, аккуратный Кунт с папкой под мышкой докладывал генералам и графам результаты своих статистических изысканий о народном богатстве, таможнях и ремеслах. Все поражались ясностью воззрений щуплого и прилежного молодого человека. Он сторонник снижения тарифов и свободной торговли. Кроме того, он также поклонник Руссо.

— Аптекарь! — благосклонно шутит общество в Тегеле. Так оно называет ученых.

Вбегают голубоглазый мальчик, его руки полны цветов, камней и раковин.

— А вот и маленький аптекарь!

Это, конечно, шутка. Но мать замечает чуть ироническое сочувствие к себе в тоне, каким произносят эту кличку, приставшую к Александру. Замечает и мальчик.

— Я не буду аптекарем, я хочу в солдаты, — говорит он и бросает раковины.

Но после незаметно он снова соберет все эти пестрые скорлупки и тщательно разложит их по ящикам с этикетками.

Откуда это у него? Мальчик ничего не сумел бы ответить. Кунт только с почтительным протестом поднял бы свои редкие рыжеватые брови: ради бога, при чем тут он? 1 Знатные господа в расшитых мундирах и плотно обтягивающих ляжки лосинах могли лишь улыбаться с благосклонной и снисходительной иронией.

А между тем это был тоже он, «дух века». «Дух века» неисповедимыми для родителей маленького Александра путями коснулся мальчика.

Украшенные короной папки аккуратного Кунта вовсе не содержали сведений об очень важных вещах — например, о том, что купцам и фабрикантам все теснее становилось в старой Европе. Мануфактуры, ситцевые и суконные фабрики, мастерские кружев, шляп и платьев, бумажные мельницы на реках, заведения, где выдували стекла, громадные печи, где уголь обжигался в кокс и где выплавлялся чугун, а также новые заводы, где строились и собирались недавно придуманные машины — ткацкая, прядильная, паровая, — все эти предприятия множились от года к году. Рабочие жили рядом в казармах, похожих на тюрьмы. Вместе с мужчинами по пятнадцати часов в сутки работали женщины, им платили половину. Детей приучали к станку с шести лет. Считалось, что только так они научатся к четырнадцати работать как следует. Детей сгоняли в детские работные дома, «киндерхаузы»; там они спали впятером на одной кровати. Добрый король Фридрих хотел даже продать купцам города Гиршберга тысячу детей и очень огорчился, что не удалось сойтись в цене.

Детскими ручонками и каторжным трудом родителей создавались груды товаров. Нужны были рынки, нужны

были новые земли, обильные дешевым сырьем. Ничьи земли оставались еще в тропиках. Они богаты щедрыми дарами роскошной природы — копррой, пряностями; там мог расти хлопок и сахарный тростник, иногда находили золотые россыпи; беззащитные туземцы были даровой рабской силой.

Отважные капитаны в поисках ничьих земель бороздили моря на судах, охотно снаряжаемых правительствами и торговыми компаниями. Капитаны привозили раковины южного океана, трюмы, набитые кокосами и плодами хлебного дерева, грубо вырубленные фигурки богов и романтику дальних тропических путешествий.

Почти повторяя времена Колумба, стремительно раздвигались горизонты мира. Шла молва о сказочных плаваниях Кука. Поселенцы в Северной Америке двигались на Запад, в страну прерий, бизонов и индейских вигвамов. Доносились неясные слухи о поднявшихся до неба снежных абиссинских горах, где скрыты таинственные истоки Нила, откуда спускаются, звеня ожерельями, черные курчавые и воинственные люди, молящиеся Христу в храмах, похожих на кумирни.

И география становилась царицей наук.

Так обстояло дело в те времена, когда голубоглазый мальчишка Александр бегал по залам замка.

Тегель со своими старинными обомшелыми башнями, «холмы в виноградниках, которые казались горами», лесничество с пятьюстами пород деревьев... Природа была близка, она меняла цвета, остро пахла молодой зеленью весной, рдела осенним багрянцем. А фантазия мальчика еще преображала и украшала этот маленький мир.

Он прислушивался к разговорам. Да, даже дворяне, презиравшие «аптекарей», говорили о цейлонском чае. Однажды ему рассказали об испанском завоевателе XV столетия Васко Нуеце Бальбоа, первым увидевшем

Тихий океан. Тогда, вспоминает он, сильнейшее «движение души» как бы потрясло его. Мальчик, выросший среди сосен севера, — он видел во сне корабли, заоблачные хребты Андов и звезды, сияющие над южными морями.

Со страниц дедовой библии на него смотрели пальмы с листьями, как веера, и ливанские кедры.

Однажды в берлинском ботаническом саду он долго простоял перед драконовым деревом. Оно напомнило ему другое, гигантское древнее драконово дерево на далеком острове Тенерифе, изображения которого он жадно искал в книгах путешественников.

Дома, в Тегеле, его часто заставляли в комнате, увешанной географическими картами. Он рассматривал очертания двух морей, окруженных сушей. Одно наполовину, а другое целиком брошено в пески среднеазиатских пустынь. Два голубых просвета на серо-желтой краске континента, моря среди земли, как озеро в Тегеле! Точно окна, распахнутые в бездонно глубокое, так что кружится голова, прошлое, где рождались и старились материки! Мальчик вслух повторял их имена, прислушиваясь к звукам: Каспий, Арал. Последние осколки великого моря, заливавшего низменности Азии!

Он в самом деле чувствовал некую «близкую связь с самыми отдаленными местностями и вещами». Мир, сказочно сверкающий, опоясал землю его детства, как река Океан землю древних географов.

Вспоминая позднее о своем тогдашнем состоянии, он постоянно характеризует его как «тайное, но непобедимое стремление», как «томление» и еще сильнее — как «требовательную жажду дали» («ein Drang, ein sehnlisches Verlangen»). Это было то же, что и стремление вдаль, «Sehnsucht» романтиков, то, о чем позднее написал Баратынский:

Даль, невеста за фатою,
Даль, таинственная даль...

В Тегеле, как подобает старинному замку, обитали и духи. В первой части «Фауста» лицо, казнимое Гёте, под смешной и непристойной кличкой «Проктофантасмист», возмущается: «Мы так умны, а в Тегеле — нечисто... Исчезните!.. Неслыханно!»

Гёте тоже бывал в Тегеле. Майским днем 1778 года он, идя пешком в Потсдам, пообедал у Гумбольдтов. Дети сидели у него на коленях.

В 1779 году умер майор Гумбольдт. Без него Тегель потускнел. В замок теперь изредка наезжали лишь дамы не первой молодости. Одна из них (фон Брист) описала жизнь в доме Гумбольдтов. Госпожа Гумбольдт за десять лет не изменила прически. Ее лицо казалось замороженным. Ее привязанности и антипатии были так же непоколебимы, как и спокойствие.

Между тем Кунт устроил в Тегеле и в Берлине, на Егерштрассе, нечто вроде гимназии на дому. Были привлечены не просто учителя, но известные ученые. Гейм, медик, приходил из Шпандау объяснять братьям двадцать четыре класса ботанической системы Линнея. Фишер давал уроки математики, а заодно латинского и греческого.

Александр рос хрупким, болезненным ребенком, чуть не половина его детства прошла в постели. Мать и Кунт считали его тугодумом. Но фрау фон Брист видела в нем «кокетливого мальчишку». «Он напоминает своего отца»; по сравнению с ним брат Вильгельм «при всей своей учености скорее просто педант».

Сам Вильгельм подтверждал: «Вообще люди не знают его, думая, что я превосхожу его талантом и знаниями. Таланта у него гораздо больше, а знаний столько же, только в других областях».

Никто не давал себе особенного труда вникать во вкусы ребенка-«аптекаря». Любовь матери суха и рассудочна — это «долг». Впрочем, и дети не склонны к порывам нежности. Приложившись к ручке женщины с каменным лицом, постепенно высыхавшей в своих закрытых платьях, они торопились скорее убежать в парк.

И все-таки эта черствая женщина по-своему любила их. Позднее, много болея, она не отпускала их далеко от себя. Но они уже воспринимали это как досадную помеху. В 1796 году, извещенный о ее смерти, Александр писал геологу Фрейеслебену: «Смерть ее не огорчила меня — скорее успокоила. Ты знаешь, что мое сердце не может особенно огорчаться этой потерей: мы всегда были чужды друг другу».

Детей обучали, очень мало считаясь с наклонностями младшего.

К восемнадцати годам его характер сложился. Внешне это был белокурый юноша, очень миловидный. Но люди внимательные замечали одну особенность в его ясных голубых глазах: они скорее отражали мир, чем позволяли заглянуть внутрь.

Его обучали искусству — и он охотно изучал искусство, разбирался в нем так же хорошо и легко, как в анатомии мышц лягушки. Неплохо рисовал; выставил, шестнадцатилетним, в Берлине эскиз «Дружба плачет над пеплом почившего». Только музыку, сходясь с братом, называл «общественным бедствием». Любезная улыбка сглаживала все острые углы житейских отношений.

Шумные и многочисленные гости майора, редкие и говорящие вполголоса гости матери думали одинаково, глядя на Александра: «Какое счастливое детство!»

А что думал он сам? Он был скуп на признания.

«Мою биографию ищите в моих работах», — повторял он потом всю жизнь. Это не только скромная

гордость исследователя, но и нежелание пускать «за кулисы» своей улыбки.

Но кулисы кое-когда и открывались.

Двадцатидвухлетний юноша писал Фрейеслебену: «Холмы с виноградниками... рощи, луга, изумительные виды на живописное озеро... Прибавьте к этому радушие и дух радостной жизни, царившие в замке, — и вы вдвойне поразитесь, когда я вам скажу, какие тоскливые ощущения пробуждает во мне это место каждый раз, как я его посещаю... Здесь, в Тегеле, я провел большую часть этой печальной жизни — среди людей, которые меня любили, желали мне добра и с которыми я не сходилась ни в одном впечатлении, — тягостно одинокий, вечно принуждая себя к притворству и жертвам...»

Да, в письме к своей берлинской подруге, Генриэтте Герц, «прекрасной Генриэтте», зашифрованном еврейским языком, он еще раз решился назвать Тегель замком скуки.

«Печальная жизнь»! Странно, неожиданно...

Прекрасная Генриэтта

Бранденбургские ворота в Берлине — два столба, увенчанных коронами. Вымуштрованные часовые, деревянные гиганты с ружьями на плече, сторожили их.

Так было прежде, так оставалось и теперь.

Но сколько перемен, едва проедешь ворота, в столице!

Король Фридрих прожил достаточно долго в своем «Беззаботном замке», в своем «Сан-Суси» (многие в Берлине почти открыто говорили, что король вообще зажился), чтобы перед смертью убедиться в крахе той «системы», которую он насаждал в Пруссии. От «старого Фрица» осталась в назидание потомкам шпага, хранившаяся до тех пор, пока Наполеон не увез ее в Париж.

Братья Гумбольдты, вовсе переселившиеся из Тегеля на Егерштрассе, с изумлением встречали «Под липами» толпы женщин, накрашенных и разряженных, как парижские кокетки. Женщины шли слушать модных проповедников — реформата Зака в соборе, лютеранского пастора Цельнера в Мариинской кирхе и особенно французов-католиков — Ансиллона, Эрмана, Дюпаке, Реклама, черные сутаны которых собирали весь высший свет в костеле.

Чрезвычайно размножились пивные. Там было шумно. Братьям указывали места сборов «истинно немецких» кружков. Лощеные юнкеры чокались кружками с бюргерами, и налитые пивом животы колыхались, когда луженые глотки хрипло изрыгали: «Хох!»

Неслыханная армия чиновников, студенты, вдохновенные куклы и духовидцы с Унтер-ден-Линден,

филантропы, иллюминаты, поклонники Лессинга и Руссо, патриоты плац-парадов...

Где был истинный Берлин?

Кунт сказал:

— Кто не видел площади Жандармов и мадам Герц — не видел Берлина.

— Мадам Герц, — объяснил он, — еврейка. Но все блестящее, что есть сейчас в Берлине, собирается у нее.

Каковы бы ни были недостатки воспитания обоих Гумбольдтов, им никогда не прививали расистских взглядов. Через много лет, в старости, подводя итог своему жизненному опыту, Александр напишет человечные и мудрые слова: «На свете нет высших и низших народов», «Нет человеческих племен, более благородных, чем другие». Брат был согласен с ним.

Они охотно пошли к Герцам.

— Мы — рыцари, несущие орифламмы высшей духовной жизни, — торжественно объявил братьям Герц-супруг.

Они встретили здесь изящных философов и литераторов, гордившихся тонкостью стиля. Тут были Мендельсоны — Иосиф и Натан, Давид Фридендер и Бистер, столп «Берлинского ежемесячника», поставившего себе задачей «искоренение гибельного невежества». Целый цветник девушек украшал комнаты. Генриэтта Мендельсон и ее сестра Доротея, жена критика и писателя-романтика Шлегеля. «Сивилла» Рахиль, «женщина аристотелевского ума», вся жизнь которой оказалась так тесно связанной с судьбами немецкой литературы: это ей, пятидесятилетней, посвятит Гейне «Лирическое интермеццо», и Гюго прославит ее в «Orientales». Наконец сама хозяйка, Генриэтта Герц, «красивейшая женщина Берлина», с сестрой Бренной... Настоящие женщины Ренессанса, знающие решительно все, помощницы и руководительницы мужчин!

Пожилой человек держал речь:

— Немецкий народ переживает великое и грозное время. Рождается эра, которой будут удивляться века. Разум и могучее чувство единения всех сердец озарят ее. Но не критиканские упражнения Николаи и его друзей из «Всеобщей немецкой библиотеки», осмеивающих все на свете, готовят эту эру! Их философия суха, как песчаная почва, на которой растут сосны Тиргартена. Мы должны поклоняться святыням. Прав был господин фон Мильвиц, когда бросил в огонь дорогой экземпляр гольбаховой «Системы природы», принадлежащий его другу, и поставил взамен на полку «Естественную религию» Реймаруса!

Пожилой человек был Энгель — «глубокомыслием подобный Платону, а красноречием — Цицерону». Кружок Герцев был либерален, но в меру. Тут приходили в ужас от сочинений французских материалистов и мечтали о «естественной религии». Тут ожесточенно воевали также с «Всеобщей немецкой библиотекой», которую издавал Николаи, выходец из низов. Его писания против духовидцев находили дерзкими. А когда Николаи пародировал сентиментальность гётевского «Вертера», смеялись над отсутствием у него вкуса... Николаи не уступал ни в чем; всю жизнь он оставался бедняком. И Гёте собственной рукой казнил его: это его он вывел под кличкой «Проктофантасмист», вложивши ему в уста комическую угрозу «укротить чертей и поэтов».

Давид Фридендер встал и добавил:

— Бюрократия торжествует в Берлине. Меня не беспокоит, когда камердамы во дворце говорят «гутен морген» вместо «бонжур», как они говорили при покойном короле. Но указы о двойном величии религии и цензуры нельзя признать образцом справедливости. И я не могу аплодировать Зильбершлагоу, проповеднику церкви Святой Троицы, когда он всходит на трибуну

Академии наук, чтобы объяснить, что солнце и есть то адское пламя, на котором дьявол поджаривает безбожников, естествоиспытателей и деистов.

— Друзья, Энгель и ты, Давид! — сказала прекрасная Генриэтта. — Оставьте Николаи соперничать с мумиями, найденными в египетских пирамидах, а Зильбершлага предаваться приятным воспоминаниям о костре, где сгорел Джордано Бруно и от которого едва ушел Галилей. Мы молоды. Молода Германия. Что значит Берлин против всей страны? Заря занялась в Кенигсберге, где учит Кант, в Иене и Веймаре, где раздаются голоса Шиллера и Гёте!..

И общество хором продекламировало монолог Позы из «Дон Карлоса».

Затем пошли в кабинет смотреть физические опыты. Вечер был посвящен лекции о громоотводе, установленном в Тегеле.

У Герцев царил культ чувствительности. Изъяснялись языком восторженным и высокопарным. Отсутствующие слали бесконечные письма на многих языках, следя, чтобы обязательное «Ты» было написано с прописной буквы.

Оба брата проделали весь установленный ритуал влюбленности, разумеется, прежде всего избрав дамой сердца хозяйку. После горячих споров и декламаций танцевали. Интимные излияния переполненных сердец продолжались в уединенных беседах часами.

Вильгельм в особенности чувствовал себя как рыба в воде в этой женской атмосфере жеманного красноречия. Александр уже тогда был таким, каким запомнила его несколько лет спустя фрау Ильген: «красивым малым, танцором, натуралистом, дипломатом, острым на язык, постоянно, однако, занятым электрическими машинами и гальваническими столбами».

Он подтрунивал над братом. Тот сердито заявлял: «Мы слишком различны по характеру...»

Студент

А для Александра это были годы напряженной учебы.

Дома он учился до восемнадцати лет.

Осенью 1787 года Александра и Вильгельма отправили во Франкфурт-на-Одере. Кунт сопровождал их. В своем долгополом мундире он казался богиней скуки.

Александр стал студентом камерального факультета.

Камеральными науками называлась крошка знаний, касавшихся государственных имуществ. Этой крошкой питали будущих чиновников. Никто не мог изложить толково, чему именно их обучали. И в просторечии о том, кто только числился в университете и не «штудировал» ничего, говорили: «Он штудирует камеральные».

Во Франкфурте студентам показывали высушенный горох, лук, редьку и репу. Им объясняли, как делают сыр, как работает крупорушка, и советовали смазывать деревья известью для защиты от вредителей. При университете не было ни анатомического театра, ни естественного кабинета, ни обсерватории, ни ботанических собраний, ни даже путной библиотеки.

Гумбольдт отметил необычайное количество докторов, наряженных в парики и мантии, устраивавших латинские диспуты, и необычайный наплыв диссертантов, прослышавших о легкости, с какой можно было здесь увенчать себя академическими лаврами.

Того, что мог дать юноше Франкфурт, хватило меньше чем на год. Затем мы снова находим его в Берлине. Лето, осень, зиму он опять свободен. Свободен? Пожалуй, никогда у него не было так мало досуга, как теперь. Он посещает фабрики. Всерьез,

словно собравшись стать инженером, изучает механику, технологию, машины, производственные процессы, гидравлику. Но если мы взглянем на его тетради, которые он заполняет после экскурсии по цехам твердо и кругло выписанными греческими вокабулами, то трудно удержаться от вывода, что этот молодой человек решил стать лингвистом.

У него находится еще время копировать Рембрандта и гравировать головы апостолов Микеланджело.

Есть у него и четвертое дело: это беседы, прогулки, иногда многодневные экскурсии со своим учителем, который стал товарищем, молодым ботаником Вильденовым (между ними всего несколько лет разницы). И снова — тщательнейшие записи, конспекты тем же круглым, красивым почерком. Только, пожалуй, конспекты эти объемистее других...

Но что же заставляет его брать на себя весь этот труд? Что гонит, торопит, подталкивает его? Мечта о чиновничьей карьере? Но она открыта хоть сейчас, можно сказать — широко распахнута! Честолюбие? Жажда светского успеха? Голыми руками мог бы взять этот успех молодой аристократ, блестящий, образованный (даже слишком), не урод, о, отнюдь нет, не бука, прекрасный танцор (только времени у него все меньше и меньше для танцев!).

«Мой брат суетен и любит блистать. А причина в том, что он никогда не испытал сильного сердечного чувства». Впрочем, Вильгельм, когда писал это, был раздосадован на брата за недостаточно благоговейное отношение к его, Вильгельмовым, эпистолярным упражнением на тему о неземном единении душ...

Александра гнала необычайная жажда знания. В многообразии интересов двадцатилетнего юноши не сразу можно уловить основу, двигательный нерв...

«...И особенное предпочтение отдавал изучению тайнобрачных», — кратко замечает Гумбольдт в своей

автобиографии. Почему привлекли его эти невидные, тайные, излюбленные поверьями растения, обломки молчаливых лесов каменноугольной эпохи? С чем связывало их его воображение? Через много десятилетий он записывает, что день, когда он впервые увидел под тропиками рожи древовидных папоротников, родственников наших мхов, и последний остаток гигантских древних тайнобрачных, — этот день стал эпохой в его жизни...

Февраль 1789 года. «Я вернулся из Тиргартена, где искал мхов, лишайников и грибов. Как грустны одинокие прогулки! Но есть и привлекательность в этом уединенном общении с природой. Наслаждение чистой, самой невинной радостью от созерцания тысяч существ, окружающих тебя и, в свою очередь, радующихся (о, блаженная лейбницевская философия!) твоему существованию... Сердце тянется к тому, кто, как говорит Петрарка...»^[3]

Опять эти слова, эти неожиданные слова в устах того, чью жизнь с детства и до самого конца считали образцом безоблачной, чуть ли не сказочной удачи: грусть, печаль, одиночество. И опять — природа-утешительница. «Мой друг Вильденов — единственный, кто это воспринимает так же, как я».

Нет, брат плохо понимал глубину этой совсем не простой, сосредоточенной в себе, хотя внешне и открытой, натуры!

А между тем при всех различиях было и много сходного у обоих братьев — ведь не случайно ни одна серьезная размолвка не омрачила их многолетней, по-настоящему дружеской связи.

У Вильгельма в эту пору их юности было гораздо больше «прекраснодушия», поверхностной чувствительности, поэтому Александр казался суше. Но суетности он был чужд. Он знал власть сильного и чистого чувства, всепоглощающего, только не похожего

на то, каким хотел наделить его брат. И удивительная черта: чувство это не отделялось от работы разума, не противопоставлялось ей (как у романтиков, как у «жрецов» культа чувствительности), но составляло самую прочную опору для нее!

Вот как поражающе заканчивает он это письмо к франкфуртскому приятелю, которое начал с такой лирической грустью:

«Из 145 тысяч, живущих в Берлине, самое большее четверо занимаются ботаникой, да и те — как „гербаризированием“ на досуге. Между тем в живой природе бесполезно лежат необозримые ресурсы, разработка которых должна дать пропитание и занятие тысячам людей. Многие продукты, которые ввозятся из колоний, мы попираем ногами в своей стране. От ботаники, которую считают лишь приятным упражнением для ума, общество должно больше всего ждать именно в чисто практическом смысле. Не смешно ли, что из тысячи растений, покрывающих землю, только несколько оказались пригодны для культуры человека! И люди считают еще, что все известно и пора великих открытий миновала!»

Двадцатилетний юноша в феодальной Пруссии хочет создать исследовательский труд о «силах растительного мира» (труд, в полной мере не выполненный и по сию пору!), и меньше всего его при этом интересует лекарственное значение растений — единственное, чем сколько-нибудь занималась официальная наука его времени!

Той весной 1789 года Гумбольдт опять покинул Берлин, на этот раз для Геттингена. Вильгельм уже там. Пути братьев пока не расходятся.

Он ехал не спеша. Общительный, «весь в отца», Гумбольдт легко сближался с самыми разными людьми. Просто и быстро Переходил на «ты», охотно писал потом бесчисленные длинные остроумные письма. Друзей он

насчитывал десятками чуть не во всех городах Германии (как позднее — во всех странах мира).

И путешествие в Геттинген, несмотря на дрянные дороги, шло отлично.

Со своим обычным юмором он описывает дорожные приключения.

В Гельмштедте посетил некоего профессора Байрейса. Его дом был завален самым невероятным и самым причудливым хламом, привезенным из всех экзотических стран мира. Профессор путался в полах своего халата среди ящиков, глиняной посуды, пестрых чучел и черепов, расставленных на креслах, на столах, на полках и прямо на полу, и признавался, что до сих пор не лишен приятного удовольствия делать неожиданные открытия у себя дома.

Он взял книгу, в которой были нарисованы самураи с огромными мечами, и стал читать Гумбольдту с листа.

Затем он сказал:

— Молодой человек, мне удалось установить некое скрытое сходство между языком коптов, речью, звучащей у священного Ганга, и диалектами ротанговых зарослей Явы. Я думал об этом шесть недель, почти не прикасаясь к еде и к питью. Знающему науку йогов нетрудно отрешаться от телесных влечений.

И он достал зерно, похожее на кофейное, и в пять минут вырастил из него небольшое изящное деревцо.

Крики попугаев сопровождали Гумбольдта, когда он покидал жилище Байрейса.

Наконец он прибыл в Геттинген.

Здесь учил Блюменбах. Его студенты должны были знать наизусть невообразимую грудку анатомических препаратов, целую мясную лавку, воздвигнутую их учителем на подступах к диплому врача.

В промежутках между рассечениями трупов Блюменбах написал книгу «О созидательной силе». В ней доказывалось, что сущность жизни — непостижимое и

неуловимое «стремление к форме», бесследно исчезающее, когда грубые руки анатома кладут труп животного на секционный стол.

В большом библиотечном зале, уставленном антиками, читал археологию и древние литературы профессор элоквенции (красноречия) Гейне, знавший наизусть всю «Илиаду».

Среди студентов числились два английских принца и сорок графов.

Перед занятиями был праздник «по случаю выздоровления короля». Все студенты, в том числе и английские принцы, носили плакаты с надписью: «Да будет здоров король!» «О, глупость!!» — замечает Гумбольдт (в письме).

Он уходит с головой в занятия. Он штудирует Плавта и Петрония на семинарах, заканчивающихся около полуночи.

Как всегда, он не устает, не утрачивает ни свежести мысли, ни юмора. А пищи для юмора тут сколько угодно.

Разве не смешно, когда правовед Шпитлер сравнивает прусский королевский дом со старым дубом, в тени которого наслаждается жизнью свободолюбивый немец? Разве не уморителен дряхлый математик Кестнер, который был бы прекрасным и даже остроумным лектором, если бы имел хоть несколько зубов и бросил привычку самому смеяться над своими шамкающими остротами? Или Лесс, разрешающий в курсе морали проблему, может ли христианин играть в лото, — над чем он и заставляет усердно потеть обоих английских принцев...

В доме профессора Гейне Александр познакомился с тем, кто оказал на него, быть может, самое большое влияние за всю его жизнь. Это был Георг Форстер, муж дочери Гейне — Терезы. Александр уже слышал о нем от Вильгельма.

Георг Форстер был человеком необыкновенным, таких Гумбольдт еще не встречал. Блестящая одаренность его сразу бросалась в глаза. Но он оказался лишним в то переломное время, жестокое, безжалостное, жадное к наживе, любившее сентиментальные стихи.

Он испытал горечь и унижение бедности.

А семнадцати лет уже плывал с Куком, вернувшись же — описал свое плавание.

О чем он писал? Не о колониальных богатствах южных морей и не о том, что бедные туземцы созданы господом *богом* на грани между человеком и обезьяной, чтобы доставлять даровую силу для сбора кокосов и пряностей. Он писал о бесконечно сменяющихся картинах мира. О прекрасных, озаренных жгучим солнцем странах, о людских поселениях, так не похожих на города и села старой Европы и еще счастливых в своей первобытности. Злее ли там голод? Лишения? Нищета? Притеснения слабых сильными? Больше ли горестей выпадает на долю человеческого рода? — спрашивал Форстер. И отвечал: нет!

Тюрьмы и казармы множились в городах Германии. Рабы-рабочие изнывали в работных домах, рабы-крестьяне — на полях помещиков.

Феодальные немецкие князьки и герцоги муштровали солдат. Как бы отбрасывая от себя этот жестокий мир с его безжалостными властителями, Форстер переводил «Шакунталу», индийскую поэму, где рассказывалось о молодой девушке, кормившей птиц, и о единении природы с человеком.

Но когда зарево вспыхнуло над стенами Бастилии, его глаза засияли отсветом этого далекого пламени.

— Я не понимаю вас, — сказал ему Александр Гумбольдт со своей обычной чуть заметной любезной иронией. — Почему вы делаете различие между

событиями в этих равно вам чуждых цивилизованных странах? Вы называли себя «гражданином мира»...

— Гражданин мира сегодня — это французский гражданин! — ответил Форстер.

Его сравнивали с Шиллером. И в самом деле, их роднило многое. Суровое детство у обоих, «плебейство» и борьба со страшной тяжестью давившего их общества... Оно и раздавило Шиллера — он вышел из этой борьбы с чахоткой, сведшей его в раннюю могилу.

А Форстер умер еще раньше Шиллера, в бедности и на чужбине; он был смелее и прямолинейнее Шиллера...

Когда в Майнц вступили войска Франции, Форстер, депутат майнцкого республиканского конвента, отправился в Париж. Возврата на родину не было. Он умер в революционном Париже, в Доме голландских патриотов на улице Мулен, оторванный от семьи, ошельмованный в Пруссии, но с тем же огнем энтузиазма в глазах, который ничто не в силах было потушить.

Оба брата прошли через самую настоящую влюбленность в Форстера.

Март 1790 года. Александр Гумбольдт и Форстер едут вместе. Разве мог Форстер устоять против просьб молодого друга, в котором, как ему кажется, он узнает самого себя, каким он, Форстер, был двадцать лет назад? Они едут. Куда? О нет, не на Борнео. Из Майнца, где в то время еще жил Форстер, они едут вниз по Рейну. Ранняя весна, бессолнечное небо, блеклые краски хмурой природы. Но как расцветчивают их рассказы старшего товарища о Таити, об Архипелаге, о пальмах, качающихся на коралловых атоллах!

Никогда наука о земле (Гумбольдт видит впервые, что значит и чем может быть эта наука, — землеведение, настоящая география, рождающаяся в летучих образах тут, на палубе судна, скользящего по стеклянным водам Рейна), никогда никакая наука не

популярно так. Впоследствии он сравнит рассказы Форстера с знаменитым дневником, который Дарвин вел на «Бигле». До самой смерти он будет отзываться об этом путешествии с Форстером, как о счастье, и не устанет повторять искренне, горячо, страстно, сколь многим он обязан Форстеру.

Гумбольдт почти отказался от самого себя. Он следовал за учителем, ловил каждое его слово, учился у него видеть мир.

Они посещали города, порты, музеи, обсерватории, фабрики, муниципалитеты, народные собрания, осматривали памятники архитектуры.

Через Голландию проехали в Англию. В парламенте слушали речи Питта и Шеридана. Осмотрели в Стратфорде шекспировские реликвии. Знакомились в Оксфорде с бытом студентов и с аудиториями, где читали доктора в средневековых шапочках.

В Лондоне жила еще вдова Кука. Сэр Джозеф Банкс, баронет, спутник Кука по первому путешествию, сказал несколько ласковых слов юноше Гумбольдту и потряс ему руку. В доме губернатора Ост-Индии Уоррена Гастингса Гумбольдт увидел картину Годжеса, изображающую берег Ганга. И это посредственное произведение наполнило его сердце сладкой тоской.

Возвращались через Париж. На Марсовом поле строили гигантский амфитеатр, где должно было собраться все население в день праздника Федерации. Со всех концов страны прибывали в Париж делегации от национальной гвардии, от армии, моряков, местных федераций. На площади, колышущейся морем голов и трехцветных кокард, они приветствовали друг друга словами: «Свобода, равенство, братство!» — и будто единое, мощное дыхание прокатывалось по площади...

Мир, всплывший из воды, и мир, рожденный огнем

В Геттинген Александр уже не вернулся. Он отправился в следующий свой университет — Торговую академию. Он хотел подготовиться к той стороне своей «камеральной» деятельности в горной промышленности, которой вовсе не знал, — к управлению предприятиями. Но, может быть, для него важнее было, что академия находилась в Гамбурге — в первом немецком морском порту.

Он жил в комнате с каким-то петербургским богачом Бетлингом, получавшим из России по сорок тысяч рублей в год. Тщательно штудировал бухгалтерию и по колоколу ходил обедать и ужинать. Отсюда Гумбольдт написал (одному из своих очередных друзей — Земмерингу) самое смелое письмо, какое только выходило из-под его пера: «Я бываю во всех кругах, дворянских и бюргерских, которые по похвальной индийской методе разделены друг от друга, как касты... Здесь все играют в карты... Много говорят о дворянской заносчивости на Рейне, но здешняя ее далеко превосходит. Здравый смысл наших западных соседей переживет это столетие, а Германия будет еще долго удивляться, примеряться, готовиться и пропустит решительное мгновение».

Зимой он собирал мхи, изучал датский и шведский языки и как-то, в бурю, совершил морскую экскурсию на Гельголанд.

Поездка с Форстером окончательно определила его планы больших путешествий. Но они, эти планы, так говорит он сам, могли быть «исполнены только по смерти матери» (страшные слова, свидетельствующие о бездне отчуждения между матерью и сыном!).

Весной 1791 года он отправился в прусскую столицу. Он увидел Берлин, заклинающий духов, ханжествующий в церквях, толпу розенкрейцеров, всю использовавших слабоумие Фридриха Вильгельма II. «Берлинский ежемесячник» почти задушила цензура, прохвост Вельнер сделался министром (вместо более либерального Цедлица) и ревностно принялся душить остатки «просвещения».

Из Франции приходили оглушающие сообщения. Граф Мирабо, надежда роялистов, умер; в Национальном собрании смолк его рык. Революция грозно нарастала с каждым часом. Говорили о предстоящем бегстве короля.

В Берлине был Вильгельм. Работая референдарием при верховном суде, он пытался кое-как противостоять потоку духовидческой и «эпикурействующей» реакции. Одновременно он искал в Канте и Платоне защиты от французских вестей и от новой французской конституции. Как всегда, он был красноречив и сентиментален. Впрочем, берлинский кружок Генриэтты решил, что пора пристроить эту его сентиментальность, и женил его, к июлю 1791 года, на Каролине фон Дахереден, подруге Шарлотты фон Ленгефельд, невесты Шиллера.

Александр же перешел в четвертый и последний свой университет — в Горную академию во Фрейберге.

Во Фрейберге директорствовал Абрагам Готлоб Вернер. Это была одна из колоритнейших фигур тогдашней науки. Он пользовался почти беспримерной славой. «Вернер!» — говорили почтительным шепотом, и из Швеции, Дании, Италии, Англии, Франции, Испании, даже из Америки стекались минералоги, геогности и штейгеры, садились за ученические парты, чтобы от слова до слова записать в тетрадки быструю речь сорокалетнего человека на кафедре.

А Вернер издал в своей жизни лишь несколько тощих брошюр и побывал с геологическим молотком в

единственном месте — на Саксонских рудных горах!

Из модной тогда любви к параллелям и уподоблениям его называли Линнеем минералогии. Он в самом деле сходился с Линнеем страстью к классификации. Он разбил по классам двести минералов, которые знал; вес их он советовал определять по непосредственному впечатлению, ибо «в каком же кабинете позволят минералогу возиться с гидростатическими весами?»

Но его минералогические описания признавались несравненными. Меткие, яркие, до избытка богатые острыми и неожиданными определениями, смелой сжатостью напоминающие о народных изречениях и присловьях, иногда почти загадочные, они поражали своеобразной поэтической силой.

Вот одно из них: «Он ярко-белого цвета, плотный, шероховатый, снаружи едва мерцает, изнутри сильно блестит; состоит из больших плоских листов; распадается на ромбовидные куски; прозрачен, очень мягок; в тонких пластинках слегка упруго-гибок; немного звучит, тощ; несколько холоден на ощупь; не особенно тяжел».

Это кристаллический гипс.

Вернер считал, что Саксонские рудные горы дали ему исчерпывающее представление о мире. Вся земная кора, кроме разве гранита и гнейса, осела из воды. Он быстро старел, этот земной шар, далеко не такой большой, как о нем думали горячие головы. Он терял воду, и уровень Мирового океана падал. Стекая с материков, вода размывала их, как продолжают размывать реки и потоки, — так образовались горы. Мягкие глины и черные базальты, утесы которых похожи на замки и крепости, все они — осевшая и слежавшаяся муть, некогда принесенная водой. И вполне вероятно, что сплошной панцирь базальта покрывал когда-то всю землю вместе с другими слоистыми покровами,

оставленными морем и реками. Но это было давно, и базальтовый панцирь разрушен. Те скалы, которые нас удивляют и восхищают сейчас, — жалкие остатки его.

А вулканы, эти забавные огнедышащие горы, выбрасывающие камни и лаву на страх индейцам и добрым католикам?! Дымоходы кухонного очага, скрытого под землей разве только затем, чтобы согреть императора Фридриха Барбароссу, неподвижно сидящего, если верить преданиям, вот уж шестьсот лет внутри горы Кифгейзер, дважды обвив своей бородой каменный стол! Не проще ли предположить, что вулканы — новое и случайное явление, почти не заслуживающее внимания серьезного геолога, происшедшее, например, от воспламенений угольных пластов, как то бывает иногда в шахтах?

Геология Вернера называлась нептунической, потому что она производила мир из воды, богом которой древние считали Нептуна. Нам трудно представить себе обаяние вернеровского нептунизма для современников — настолько он противоречит всему, что мы знаем о природе. Но до каких же нелепых вещей договаривались и тогдашние противники Вернера, плутонисты, объяснявшие историю Земли действием подземного огня (божеством которого в древнем мире был Плутон)!

Витте, мекленбургский гофрат и профессор в Ростоке, доказывал в специальном трактате, что египетские пирамиды — продукт вулканического извержения, и иероглифы, над смыслом которых совершенно напрасно ломали голову ученые, не что иное, как игра кристаллических сил, трещины и шрамы выветривания.

Так же следовало судить о развалинах в Персеполисе, в Бальбеке, в Пальмире, о храме Юпитера в Джирдженти и перуанских дворцах инков, представляющих собой не более чем базальтовые

группы. Природа склонна к причудам. И лава часто застывает в виде людских фигур и саркофагов.

Вулканисты наполняли историю мира грохотом чудовищных катастроф, похожих на гнев библейского Иеговы. Некоторые воображали, что даже близость к вулканам — кузницам мира — преобразует всю человеческую природу. «Жители базальтовых местностей, — писал аббат Жиро-Сулави, — трудно поддаются управлению, склонны к мятежам и не боятся бога. Базальты — вот истинная, так долго и тщетно разыскиваемая причина быстрого распространения реформации!»

Что же мудреного в том, что многие выдающиеся люди, как, например, Гёте, предпочитали другую крайность — нептунизм?

Спор между плутонистами и нептунистами вертелся вокруг базальта. Базальт в глазах тогдашней геологии был не просто одной из горных пород. Он имел символическое значение.

Когда Гумбольдт приехал во Фрейберг, о нем там уже знали, как об авторе «Минералогических наблюдений над некоторыми рейнскими базальтами» — нептунической брошюры, написанной года за два до того. Сам Гумбольдт несколько раз с величайшей почтительностью писал Вернеру. Но тот принял юношу сухо и заносчиво. К Гумбольдту был приставлен в качестве наставника Фрейеслебен, с которым юноша и погрузился на другой день после приезда в глубину минералогической и горнозаводской премудрости.

В те времена в организации немецкого высшего образования еще оставалось много средневекового.

Ученики группировались вокруг учителя. Строго определенных курсов не было, скорее велся ряд семинаров. Как в прежних ремесленных цехах, «мастер» в докторской шапочке передавал свое искусство «подмастерьям».

Гумбольдт поступал к Вернеру на полгода.

Он занимался горным делом, минералогией, геогнозией, чугуноплавильным производством (все это читал Вернер), машиноведением, чистой и прикладной математикой (которые вели Шарпантье и его ученик Лемпе), горным правом (читал Келер), пробирным делом (читал Клоцш) и маркшейдерским искусством (руководил Фрейеслебен). Он исходил с Фрейеслебеном Богемские горы с их лабиринтом рудников.

Личное, домашнее общение студента (привилегированного, конечно) с профессором входило важным элементом в систему обучения.

Такая система могла не дать ничего, но от нее можно было взять и многое. Гумбольдт брал. «Я почти каждое утро от 7 до 12 часов провожу в шахтах, после полудня занимаюсь, вечером охочусь за мхами, как это называет Форстер».

И в другом письме:

«Я сделал 150 миль пешком и в карете через Богемию, Тюрингию, Мансфельд и т. д., ежедневно, в 6 утра, по глубокому снегу иду в рудники, а после полудня должен еще успеть поработать в 5-6 коллегиях... Никогда еще не был я так занят, как теперь. Здоровье мое подалось. Но в целом я чувствую себя очень хорошо. Я занимаюсь делом, которое, если любить его, нельзя не делать страстно, я бесконечно расширил свои знания и никогда не работал с такой легкостью, как теперь».

За зиму он написал не меньше семи научных работ, в том числе латинскую монографию о «Подземной флоре Фрейберга», о тех растениях, мхах, изумрудный цвет которых поразил его в рудничном мраке...

Фрейбергскую академию он оставил 26 февраля 1792 года. Товарищи — и среди них новый друг, молодой Фрейеслебен, сын профессора, — устроили ему торжественные проводы. Были прочитаны два стихотворения — латинское, сочиненное Фишером,

немецким буршем, который вряд ли предвидел, что ему суждено умереть российским статским советником и директором Московского ботанического сада, и немецкое, подписанное четырнадцатью авторами. Среди них один — Леопольд фон Бух — стал знаменитым геологом и, так же как Гумбольдт, изменив учителю, сделался главой плутонистов. Остальные вышли горняками и советниками, за исключением Зекендорфа, умершего в Америке мимическим актером под именем Патрика Пиля...

Гордиев узел

Дорога извивается, она отпрыгивает в сторону, чтобы снова упрямо вползти *по ту* сторону скалы из крошащегося камня. Еще не темно. Теплый летний вечер. Но время от времени легкое дуновение воздуха обдает пронизывающей сыростью. И белые клочья тумана цепляются за неровности горных склонов, рыже-бурых от дикого камня, от нарытой земли. Ржавые поросли соснового леса обломаны и словно обуглены. Эти горы с широкими и округленными вершинами похожи на сутулые старческие плечи.

Молодой человек смотрит на них. Окно открыто, и пламя рано зажженной свечи колеблется. Молодой человек смотрит вниз, где в долине, бездонной, будто пропасть, свинцовой туманной мутью клубится ночь.

Он смотрит вдаль: там, высоко, зубцы каменного гребня и отхлынувшая от каменной крутизны волна соснового леса — и над далекой вершиной еще догорает заря...

Долго глядит туда молодой человек. Затем садится к столу. Окно узко, как бойница, и у стола темно. Он придвигает свечу и пишет:

«Все мои желания, Мой Лучший, исполнились...»

А за окном ползет и густеет, все заволакивает туман...

Да, быстро это вышло! И года нет с тех пор, как он, странствующий студент, надел мундир прусского чиновника.

Счастье его, что он недолго отсидел на чиновничьем стуле в Берлине! Его перевели на шахты, в горы: «выслуживаться» — так это поняли в берлинских канцеляриях, к живому делу — так это расценил сам Гумбольдт.

И вот он живет в селении Штебен, вблизи Байрейта, в этих старых горах, где человек начал рыться с 1421 года. Двадцатитрехлетний обер-бергмейстер...

Он инспектирует рудники в трех горных округах — Найла, Вунзидель, Гольдкронах. Он посылает в Берлин статистико-экономические сводки. Он исследует месторождения полезных ископаемых. На нем лежит и чугунолитейное производство. Короче — он отвечает за все, что касается природных богатств, машин в шахтах и в цехах заводов, печей для выплавки чугуна и администрации всего горного дела.

Он занят еще солеварнями в Геробронне, фарфоровыми заводами в Брукберге, купоросным, квасцовым производством и серными фабриками в Грефентале.

Конечно, он изучает также историю своих гор, роется в огромных, тяжелых фолиантах, словно вынутых из библиотеки Фауста. На страницах, испещренных готической вязью, рябщей в глазах от жирных завитушек, он выискивает упоминания о давным-давно, чуть не со времени Тридцатилетней войны, заброшенных шахтах. «Это была ошибка моих предшественников — не пользоваться таким источником...»

Сколько же длится его рабочий день? Он не считает. Вероятно, уже в это время он твердо усваивает привычку — спать не более пяти часов в сутки.

«Тут думают, что у меня восемь ног и четыре руки», — пишет он.

Он хотел бы, чтобы так работали и другие. Но что сказать о них, о его коллегах? Да, это служаки. И они предпочитают... выслуживаться. Самое важное для них — почта из Берлина с известием о повышениях и наградных. «Нужно бросить бомбу среди этих людей, чтобы заставить их работать!»

Во всяком случае, обер-бергмейстер Гумбольдт добился многого. Есть свидетельства, что при Гумбольдте рудники стали приносить за один год столько, сколько они давали раньше за четырнадцать. Правда, это характеризует, помимо энергии Гумбольдта, также и ужасающее состояние горного дела в Пруссии.

«Все мои желания выполнены...»

Все ли?

Обер-бергмейстер отрывается от письма. Он снова смотрит в окно. Еле видна дорога — дорога, по которой вот уже триста пятьдесят лет возят руду из гор... И туман совсем закрыл горы. Наверху со всех сторон, на невидимых теперь склонах, огоньки: домишки горняков, людей, которых незачем заставлять работать — они и так выбиваются из сил. Огоньки их жалких лачуг словно парят в воздухе. Какая тишина! И в тишине — сырость земли, клейкий запах листьев и крик — птичий крик, пустынный, первобытный. Как будто стерты туманом триста пятьдесят лет, в течение которых покорял человек эти горы...

И странная тоска сладко сжимает сердце обер-бергмейстера. Она подкатывается и щиплет в горле. Он не знает, почему у него на глазах слезы.

«Штебен оказал такое влияние на весь строй моих мыслей, я создавал там такие большие планы, так прислушивался к голосу моих чувств, что я боюсь впечатления, которое он произведет на меня, если я его опять увижу. Я жил там, особенно зимой 1794 и осенью 1793 годов, в таком состоянии напряжения, что по вечерам не мог без слез смотреть на кое-где освещенные домики рудокопов на высотах, закутанные в туман. Такого места я больше никогда не найду по эту сторону моря!»

Так он вспомнил много лет спустя о ночах обер-бергмейстера.

Нет, желания исполнились еще не все...

Веймар и Иена недалеко. Там Гёте, брат Вильгельм и Шиллер с их женами-подругами. Само собой вышло так, что Вильгельм больше сошелся с Шиллером, а Александр с Гёте.

Гёте с жаром говорил о межчелюстной кости, найденной им у человека и в точности напоминающей межчелюстную кость животных; он читал свои «Метаморфозы растений»; сообщал, как движутся его занятия по оптике, — да, учению самоуверенного Ньютона, который пытался уничтожить свет Солнца, белый свет дня, разложить его на семь цветов, скоро будет нанесен смертельный удар!

Вулканистов и Ньютона Гёте ненавидел со страстностью, какой вовсе не вносил в литературные споры. «В эстетике, — так объяснял он это, — каждый может верить и чувствовать, как он хочет, но в науке фальшь и абсурд невыносимы».

Он высмеивал вулканистов в «Ксениях»:

Бедные скалы базальта! Вам надо огню
подчиняться,
Хоть никто не видал, как породил вас огонь!
...Вот, наконец, опустили их снова в старую воду,
И потушила она этот пылающий спор...

Воззрения человека такого масштаба, как Гёте, не могли быть только неверными, неверными до конца; в них была своя последовательность. Оптика его тоже заключала глубокие и остроумные мысли; ошибочность ее проистекала от смешения физики с физиологией и психологией. Нептунизм Гёте был следствием основного, притом, бесспорно, замечательного пункта его натурфилософии, выраженного словами Фауста:

И чтоб росли, цвели природы чада,
Переворотов глупых ей не надо.

Сам Гёте говорил Леонгардту: «Я убежден, что при истолковании различных образований земли только тогда можно призывать на помощь перевороты, когда оказывается недостаточным объяснение посредством спокойных действий, наиболее свойственных природе».

Что он хотел сказать? Что природу следует объяснять из нее самой, а не вносить в нее насильственный, чудесный элемент. Чутье Гёте не обманывало.

Крайности вулканизма подготовили, нелепейшую теорию именно переворотов, «катастроф» (будто бы в прошлом постигавших земной шар, сметая живое население земли), — с помощью этой теории француз Кювье, а после д'Орбиньи и швейцаро-американец Агассиз «сокрушали» в XIX веке эволюционное учение; была превзойдена даже библия с ее единственным переворотом — всемирным потопом!

«Пусть знает потомство, что в нашем веке жил хоть один человек, который видел насквозь все нелепости плутонистов!»

Гёте видел их. Но перед нелепостями нептунистов он зажмуривал глаза. И не одна любовь к истине, но и опасливая боязнь революций — даже в природе (а ведь без скачков, без революций, без перерывов спокойной постепенности нет развития в природе!) — побуждала Гёте, министра великого герцога веймарского Карла Августа, восторгаться младенческим лепетом Вернера; Гёте не желал замечать, что геология, неотвратимо идущая вперед, оставила позади фрейбергского пророка.

Когда Александр зимой 1794 года приезжал в Иену, Гёте отправлялся с ним ранним утром в анатомическую

аудиторию университета слушать Лодера, читавшего свой курс связок и суставов. Универсальный во всем, Гёте был универсален и в естествознании.

Часто к ним присоединялся Вильгельм, иногда и Шиллер, вспоминая о своей профессии медика.

Вечерами неутомимый Гёте диктовал «схему сравнительного учения о костях».

Шиллер пригласил Гумбольдта участвовать в своем журнале, названном по имени богинь времени, охранительниц врат Олимпа, «Орами». Александр написал «Родосского гения». Это была аллегория, действие которой разворачивалось в воображаемой древней Греции, а смысл заключался в популярном изложении Блюменбахова учения о жизненной силе, господствующей, пока она не отлетела от тела, над всеми физико-химическими силами организма.

Аллегория была напечатана и очень понравилась — она оказалась вполне во вкусе времени и в конце концов несколько не хуже других произведений, наполнявших журналы.

Но размолвка с Шиллером надвигалась неминуемо. Слишком различны были пути фельдшерского сына, романтика-идеалиста, страстного поэта-проповедника, и уравновешенного натуралиста, чье детство прошло в Тегельском замке. Размолвка наступила через немногие годы — тогда, когда Гумбольдт больше не подписал бы ни одной строки своего «Родосского гения».

Эти годы стали важнейшими для молодого Гумбольдта. Кем он был до сих пор? Лучшие люди Германии разговаривали с ним почти как с равным, но разве в личных его заслугах тут дело! Правда, саксонский курфюрст прислал золотую медаль за «Подземную флору», а может быть, за «Афоризмы и доктрины», приложенные к ней; «доктрины» трактовали все о той же блюменбаховой «жизненной силе». Да

нашелся шведский ботаник Валь, который присвоил имя Гумбольдта одному индийскому лавровому деревцу...

Но лучше других сам он, Гумбольдт, понимал, как немного все это стоит.

Он работал.

В это время начали отчетливо сказываться три характерные черты его способа работать, которым предстояло в поражающей форме проявиться уже скоро.

Первая черта — неистовая жадность к труду, к «деланию». Нет, здесь вовсе не было аристократа, не было белоручки. Был чернорабочий, три четверти суток не вылезавший из «упряжки». Он не «схватывал» походя, на лету, силой «чистой интуиции», как похвалялись натурфилософы, — он добывал сам, своими руками, как шахтер добывает руду, почти невообразимые груды фактов. Мы знаем: исполинской мерой приходится мерить то, что успел сделать Гумбольдт.

И это — вторая черта — при совершенно исключительной способности к обобщению и — черта третья — при широчайшей разносторонности, подлинной «всеобщности» его интересов!

Вот он отослал в Берлин свой очередной чиновничий доклад — на ста пятидесяти листах! И засел за карту, «показывающую связь всех соляных источников Германии». Это карта подземного мира, соляных потоков, текущих с юго-запада на северо-восток в гипсовых пластах под немецкой землей. Он прослеживает эти невидимые потоки, указывает, где бурить, где закладывать солеварни.

И собирается взяться еще за «толстый труд — геогностическую картину Германии».

Великое счастье — «раздвигать границы нашего познания»!

А повсюду, куда он ни едет по долгу службы горного чиновника, — в горных округах Пруссии, в Баварии, во

франконских княжествах — видит он страшные условия работы горняков. И следом за фразой о «великом счастье» из-под пера его выливается: «Но гораздо человечнее радость изобрести что-либо, что могло бы облегчить труд рабочим людям...»

Чем же может облегчить подземный труд он, недавно увидевший эти шахты, сырые, темные, с дурной вентиляцией, где люди гибли от обвалов, от взрывов, задыхались от газа, умирали сотнями от болезней? Он, молодой обер-бергмейстер, делает, что может, предпринимает первые попытки хоть как-нибудь обезопасить этот каторжный труд. Он изобретает лампу, с которой можно работать в газовых шахтах, дыхательный аппарат и прибор антракометр, чтобы быстро определять, сколько углекислоты в воздухе шахт. До лампы англичанина Гемфри Дэви лампа Гумбольдта была лучшей. Пробуя ее, он свалился без чувств в пустом отдаленном квершлага серного рудника. Его случайно нашли и вытащили полумертвого. Открыв глаза, он сразу посмотрел на лампу:

— Горит! Все еще горит!

Именно тогда, в это время громадного внешнего и внутреннего напряжения, время быстрого роста душевных сил, прояснилось Гумбольдту во всем необычайном смысле и само понятие «наука».

«Главным моим побуждением всегда было стремление обнять явления внешнего мира в их общей связи, природу, как целое». Это написано позднее, Но не зря стоит тут «всегда».

А в 1794 году он посылает Шиллеру замечательное письмо: «Естествознание, в частности, наука о растениях, в том виде, как ее трактовали до настоящего времени, когда ограничивались установлением различий между формами, не могло служить объектом размышления для созерцающего ума... Но вы чувствуете вместе со мной, что есть нечто высшее, что надо еще

искать и найти... Аристотеля и Плиния побудило описывать природу присущее человеку эстетическое чувство... Эти древние авторы имели, несомненно, более широкие взгляды, чем наши убогие регистраторы природы...»

Письмо это еще не заставило насторожиться Шиллера. Страстные романтики и «философы природы» в их поисках скрытых связей и тайных уподоблений также стремились «обнять вселенную». Живая природа — та часть вселенной, где и проявлялся «дух» в собственном смысле, куда, следовательно, принадлежали и проявления «мыслящего духа» самих философов, весьма занимала их. Эстетическое чувство... но ведь не кто иной, как именно Шиллер, построил целую философию его!

Шиллер не разглядел в этом письме вехи на пути к такому пониманию природы и способов изучения ее, которое глубоко отличалось от его, шиллеровского.

А между тем в решающий для него штебенский период Гумбольдт стремительно двигался по этому пути.

Наука в конце концов едина — будет ли то исследование связи соляных источников или сути органической жизни, — потому что у науки один объект — мир. «Связи наук так тесны, что всем им, даже тем, которые считаются менее важными, следует быть прикрепленными к другим, как полип к скале...»

Вот тот новый смысл понятия «наука», который все яснее и яснее — почти до зримости — становился вняттен Гумбольдту, «потому что невозможно правильно понять в целом всю природу, если мы сначала не изучим ее по частям».

Тут уже никакая натурфилософия была ни при чем. Начиналось совсем другое. И для блюменбаховой жизненной силы скоро тут вовсе не останется места.

«Размышления и новые исследования по физиологии и химии сильно поколебали мое прежнее верование в особые жизненные силы».

Новые физиологические и химические исследования, о которых говорит Гумбольдт, — это, конечно, исследования по животному электричеству и, главное, работы французских химиков Лавуазье, Бертолле, Фуркруа и других. С каким восторгом принял их Гумбольдт одним из первых в Германии! Вот откуда повеяло на него! Вот где смело берет он новые кирпичи для своего научного мировоззрения.

Раз он занимается биологией, он сразу же — и это характернее всего для Гумбольдта! — ставит основной вопрос, вопрос о сути целого.

«Что такое жизнь?»

Поразительные строки пишет он в 1796 году: «Я надеюсь скоро распутать гордиев узел жизненных процессов».

В «досуги» штебенского периода он предпринимает грандиозное исследование раздражимости мускульных и нервных волокон. Четыре тысячи опытов сделал тогда Гумбольдт.

Раздражимость, способность отвечать на внешние воздействия, раздражения, — одно из основных свойств жизни. Камень не отвечает на раздражения. Он крошится от ударов, едкие кислоты растворяют его. Он мертв. Что же такое раздражимость живых существ — это отдергивание ушибленной лапки, сужение зрачка на сильном свете? Что правит работой нервов, мускулов, осуществляющих акт ответа организма на принятое раздражение?

Отыскивая концы гордиева узла, Гумбольдт испытывал множество веществ, усиливающих или тормозящих жизненный процесс, работу организма.

Одним из главных «усилителей» считали тогда кислород. И Гумбольдт изучает действие на живые

существа всего, в чем только ни есть кислород. От животных переходит к растениям. Обмывает хлорной водой прорастающие семена. В те времена думали, что хлор — это соединение некоего элемента, таинственного «муриума», с кислородом. До сих пор в аптеках соляная кислота (HCl) называется *acidum muriaticum*.

Гумбольдт нашел, что семена, обработанные хлорной водой, прорастают гораздо скорее. Быстрее росли также горох и бобы в растворе металлических солей. Растения могут развиваться на различных субстанциях, о которых утверждают, что они «бесплодны». Вывод важный, вывод, нужный сельскому хозяйству. Только применять все эти находки Гумбольдта было негде и некому...

В 1791 году итальянец Гальвани опубликовал свои долголетние наблюдения над животным электричеством. Все заговорили о лягушачьих ножках, дергающихся на медном крюке во время грозы и посылающих ток, когда их касался металлический циркуль.

Уверенность, что «кислород и есть принцип действия жизненной силы» (письмо Гиртанеру), Гумбольдт дополнил убеждением, что животное электричество дает в руки еще один конец гордиева узла. Поэтому он на стороне Гальвани. В это время разгорелся жестокий спор между Гальвани и другим итальянцем, физиком Вольтой. Вольта считал, что электричество было не в мускулах лягушки, а возникло от соприкосновения разнородных металлов, из которых оказались случайно сделаны ножки циркуля Гальвани. И тело лягушки сыграло только роль влажной, слегка подкисленной среды — чувствительного показателя электричества, электроскопа.

Гумбольдт не может примириться с этой «плоской теорией» соприкосновения. Нет, именно в живом

организме образуется и действует электрический ток!

Гумбольдту мало лягушек. Он ложится на живот, доктор Шаллерн делает ему две раны на спине и прикладывает серебро и цинк. Гумбольдт лежит каждый раз по часу, стоически рассказывает доктору о жжении, уколах, режущей боли, спрашивает про цвет вытекающей сукровицы и о том, как судорожно сокращаются посиневшие мускулы. На его спину кладут мертвых лягушек; они прыгают, их мертвые мускулы тоже сокращаются от электрического тока.

Если гордиев узел не был распутан этими опытами, самоотверженно проведенными более полутора веков назад молодым человеком, почти юношей, то в главном выводе он больше не колебался и никогда не станет колебаться. «В 1797 году в конце своего сочинения „О раздраженных мускулах и нервах и о химическом процессе жизни в животном и растительном мире“ я объявил, что вовсе не считаю доказанным существование жизненных сил. С того времени я не осмеливаюсь называть особыми силами то, что, может быть, происходит от совместного действия веществ, давно уже известных порознь».

Это материализм. В пору младенчества биологии Гумбольдт говорил о таком пути объяснения органических явлений, на котором и в наши дни иные ученые рассчитывают найти разгадку жизни. Оглянемся на эпоху Гумбольдта, на среду, окружавшую его, — и еще удивительнее покажется этот факт. Аристократ, современник «века немецкого идеализма», лично связанный со столпами его, «человек с любезной улыбкой», еще меньше любивший «дразнить гусей», чем Дарвин через шестьдесят лет, — совершенно спокойно, как о вполне очевидной вещи, говорит, что нет ничего чудесного, ничего «надматериального», ничего недоступного для исследования в живой природе, которую идеалисты в философии и в науке считали во

все времена своей нерушимой опорой и вотчиной. И ничуть не колеблется в том — едва сложилось его научное мировоззрение, — в чем во всю свою жизнь не решится признаться бунтарь в науке Дарвин...

Шиллер не мог простить этой измены «Родосскому гению». Страстно и грозно обрушился он на отступника: Гумбольдт «никогда не создаст в науке ничего крупного...», «ни искры чистого объективного интереса...», «анализирующий рассудок, который пытается измерить природу, неизмеримую и недоступную, и с непонятной дерзостью думает вместить ее в рамки своих формул...»

Не разум, а только «рассудок»! На языке тогдашней немецкой идеалистической философии это было жестоко оскорбительное обвинение. Шиллер еще усилил его: «Голый рассудок-мясник, который бесстыдно хочет рассечь и измерить природу — без силы воображения, без сладостного биения сердца, без участия чувства...»

Гумбольдт не любил и старался избегать полемики. Но на этот раз не остался в долгу. Он остроумно осмеивал «кисельные чувства» и утверждал, будто Шиллер «облекает занятые у других мысли в несносную напыщенность».

Ведь кто-кто, а уж Шиллер-то должен был знать о несправедливости своих обвинений. И силой воображения, и сладостным биением сердца, и самым сильным чувством была богата та единственная в своем роде, та необычайная наука, которую создавал Гумбольдт. Материализм Гумбольдта-ученого не разрушал ни прелести, ни очарования природы. Он ничего не отнимал ни от романтики, ни от радости познания прекрасного, величественного мира, единого в своем бесконечном многообразии.

Потому что была еще четвертая характерная черта во всей работе натуралиста Гумбольдта — черта, которая придает его науке неповторимый облик: это

эстетическое чувство, включенное в закон исследований, это ощущение красоты как важной стороны истины о мире!

Именно так шел Гумбольдт к самым высшим своим научным достижениям.

То замечательное письмо Шиллеру, письмо 1794 года, он закончил целой программой небывалой науки, настоящим обвалом идей:

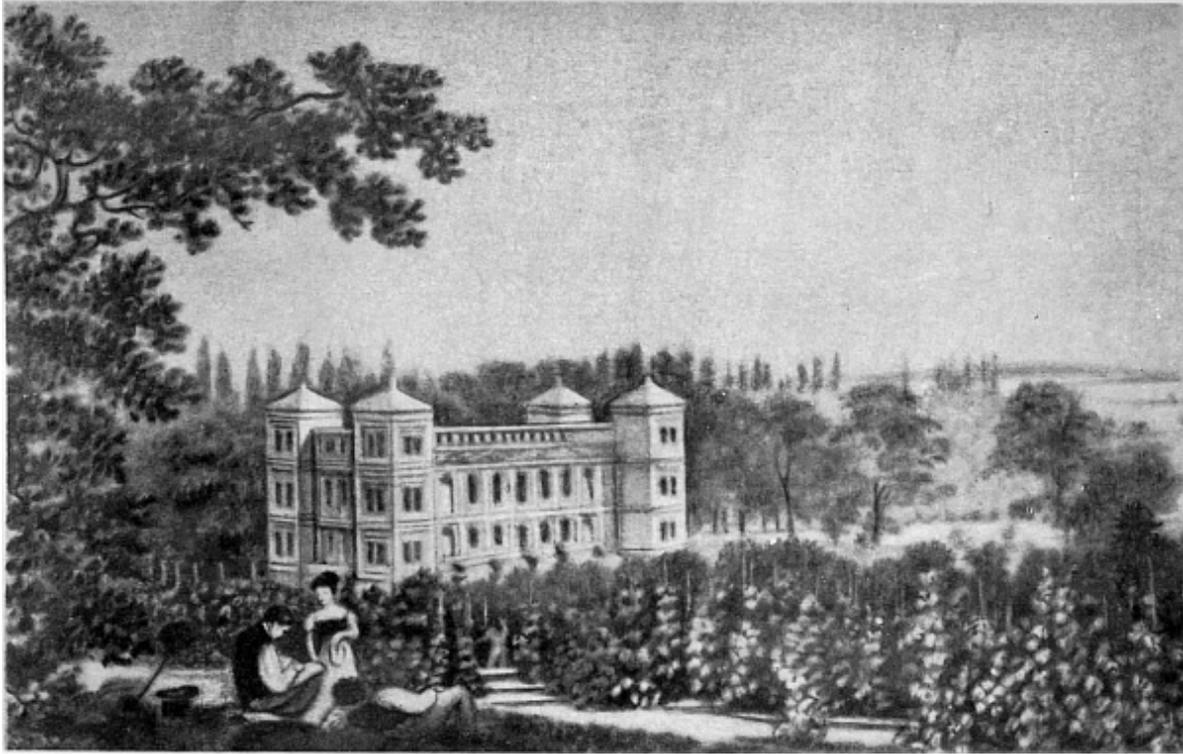
«Всеобщая гармония форм, проблема — одна ли исходная форма растений представлена в тысяче переходов; распределение этих форм по земному шару; различные влияния — радости или меланхолии, вызываемые в чувствующем человеке растительным миром; контраст между мертвой, неподвижной массой скал, между кажущимися почти неорганическими стволами деревьев и оживленным растительным покровом, одевающим нежной плотью даже скелеты животных; история и география растений, или историческое изображение общего распределения растений по земному шару — это еще не разработанный раздел истории мироздания, нахождение древнейшей растительности в местах ее погребения (окаменелости, каменный уголь, торф и др.); постепенность заселения земного шара; передвижения растений, изолированно и общественно живущих, и их пути; карты распространения тех растений, которые следовали за некоторыми народами; всеобщая история земледелия; сравнение культурных растений с домашними животными, происхождение „тех и других; изменчивость растений... одичание одомашненных растений (в Америке, Персии); общая запутанность, вносимая

в географию растений колонизациями — вот, мне кажется, предметы, достойные размышления и почти никем не затронутые. Я занимаюсь ими непрерывно...”

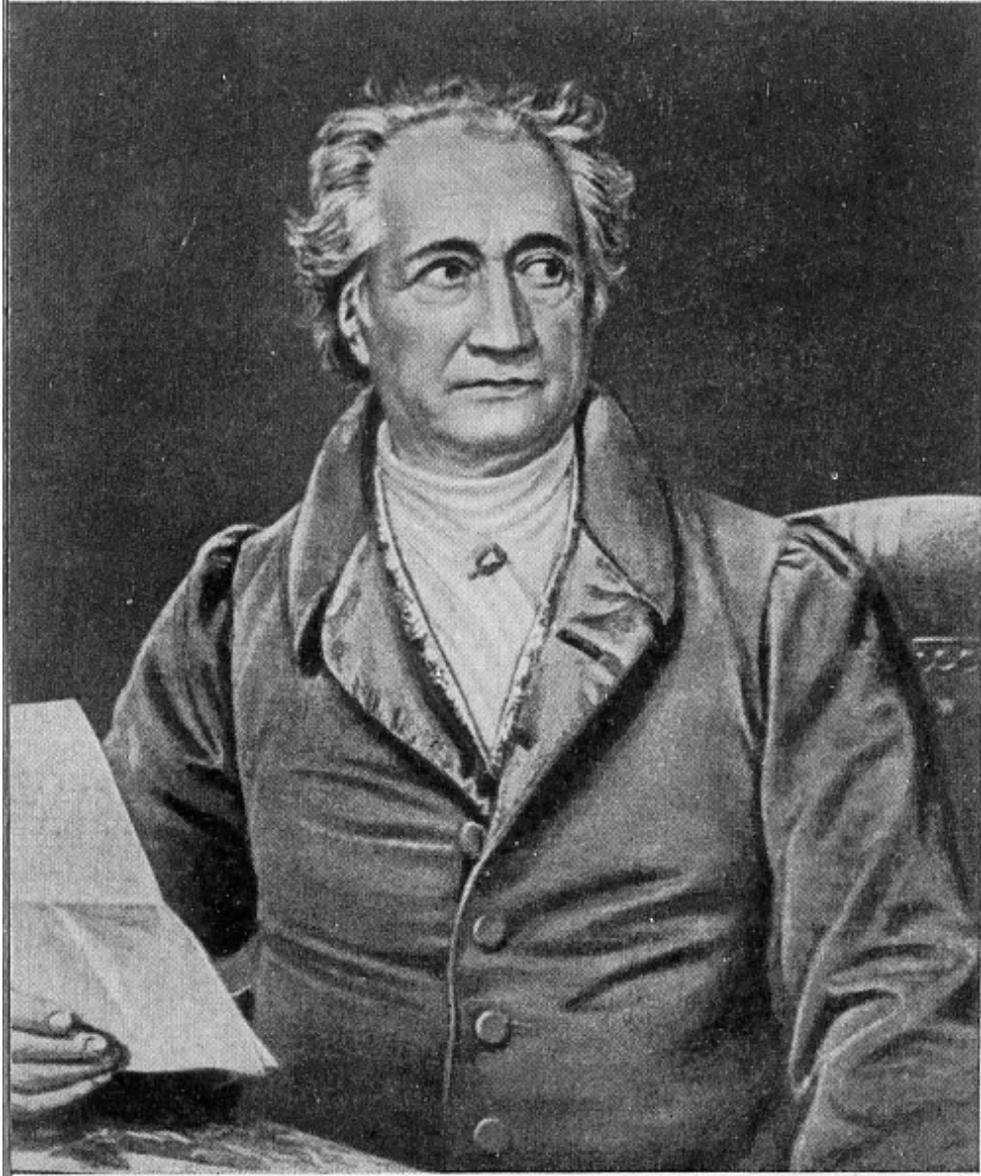
Это поражающий документ истории науки. Капиталистическая наука (не говоря о феодальной) никогда не сумела осуществить такой программы. Не образ ли науки будущего пророчески начертал Гумбольдт? В самом деле, высшее человеческое знание о мире — не должно ли оно быть добыто исследованием, впитавшим в себя, усвоившим и те черты, которые считал обязательными Гумбольдт? Черты, упущенные, забытые „регистраторами природы“, какими бы отличными специалистами в своих областях они ни были....

Вот тот самый Фуркруа, из плеяды новых французских химиков-экспериментаторов, энтузиаст и пропагандист методов их работы, Фуркруа, которым восхищался Гумбольдт, находил, что Гумбольдт „слишком поддается чувствам. Он витает в сфере эмоции...”»

Какое противоречие с отзывами Шиллера!



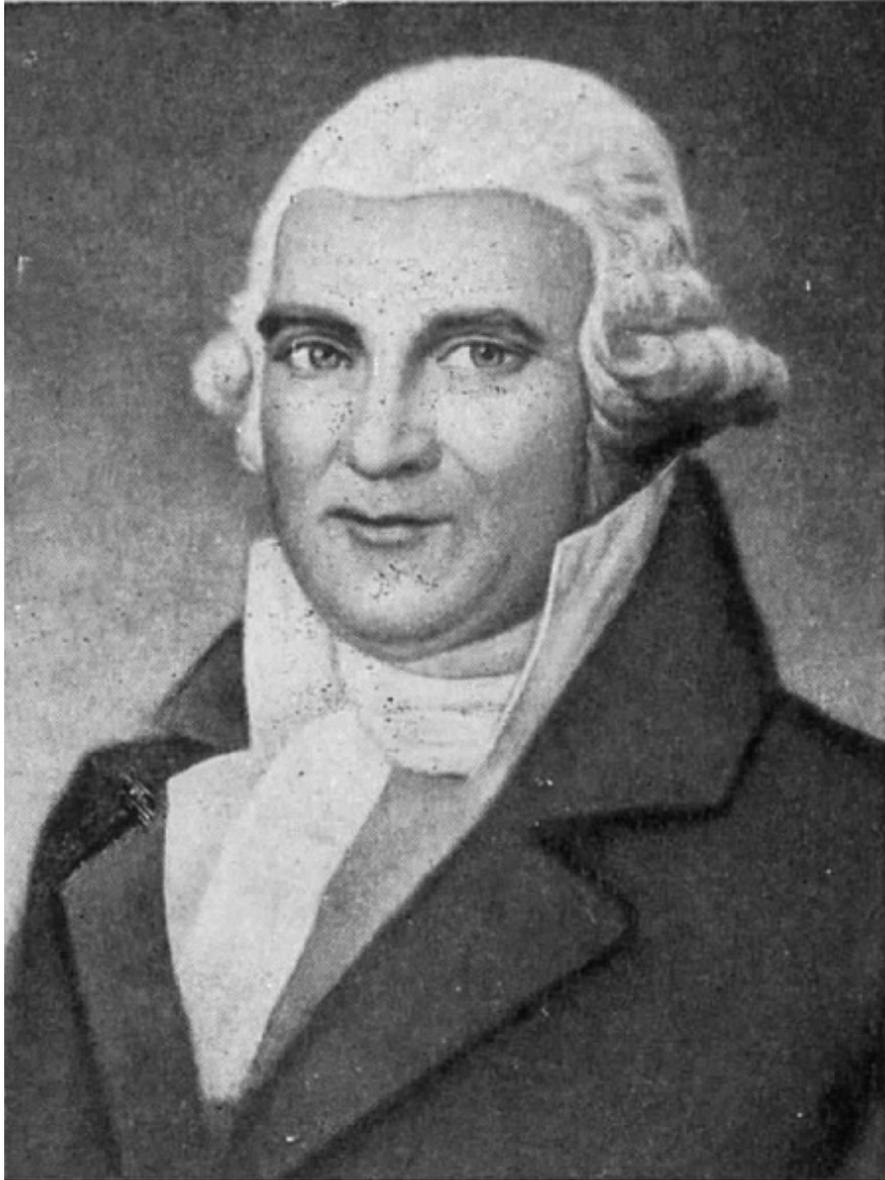
Замок Тегель.



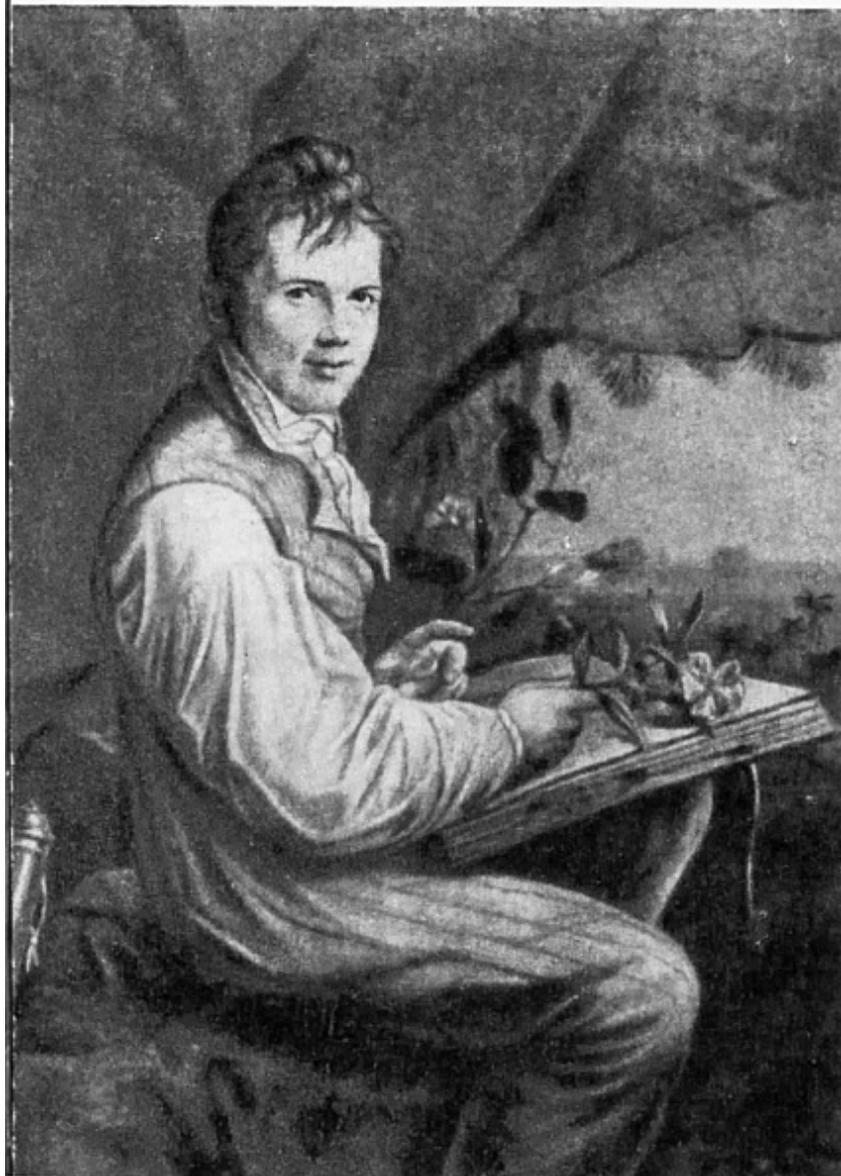
Гёте.



Шиллер.



Абрагам Готлоб Вернер.



Александр Гумбольдт (1806).

Фуркруа только пожал бы плечами, если бы его спросили, какое отношение к красоте имеет кислородная теория горения, яблочная кислота или новонайденный металл молибден...

«Республика должна выполнять гигантские планы!»

В немецких городах, у западной границы, — барабанный бой, маршируют войска, слышна перестрелка. Вот ряд фургонов загородил улицу. В фургонах пестрая рухлядь, дети, дедовские сундуки и узлы.

В невообразимую толчею врезается золоченая карета, запряженная цугом. Верховые в мундирах, надрывая голосовые связки, расчищают ей путь.

— Герцог вюртембергский! — шепчут жители, притиснутые к стенам своих домов.

Герцог вюртембергский и его двор бежали с наивозможной поспешностью. Войска Французской республики под командованием генерала Моро вступили в Вюртемберг.

В маленьком местечке Ингельфингене — странный кортеж. Гусарский офицер, два карабинера и трубач эскортируют молодого человека в жабо и туфлях с пряжками.

— Чем не посол китайского богдыхана? — говорит молодой человек, не обращаясь ни к кому. — погоди, трубач, не труби. Мне кажется, что именно от таких труб пали стены древнего Иерихона!

Молодой человек с длинными белокурыми волосами — Александр Гумбольдт. Прусский двор возвал к дипломатическим талантам ученого-аристократа. Дело идет о владениях Гогенлоэ. Надо уговорить Моро, ссылаясь на миролюбивое сердце короля, не трогать земель вассального Пруссии князя.

Гумбольдт здесь, на месте, находит, что это не так просто. Он уже вдоволь насмотрелся на растерянность штаба, на нелепые демарши, на приказы, даваемые и

тут же отменяемые. «Единственное, что они хотят противопоставить французским армиям, — это моя болтовня!»

Он едет в расположение французских войск. Жадно приглядывается к солдатам революции и их вождям. Кто они, эти исполнители и воплоители воли Парижа, непостижимого города, овеянного страшной и влекущей славой царубийства, почти сказочных побед и великих слов «Свобода, Равенство, Братство»?

Любопытно, что его внимание привлекает не главнокомандующий Моро. Несмотря на свою славу необыкновенного полководца, он показался Гумбольдту «просто» генералом. Скрытный, осторожный, угрюмый, Моро в самом деле мало напоминал пламенного республиканца. Гумбольдта поразил генерал Дезе, будущий герой Маренго. Он похож на Кромвеля, но без кромвелевского ханжеского пуританства. Он кажется «диким», но Гумбольдт находит у него «нежность и меланхолию» (два качества, которыми век Вертера желал измерять достоинство людей).

Гумбольдт ищет встреч с Дезе. Они беседуют... о новой химии! Дезе неплохо знает работы Лавуазье, Бертолле и Фуркруа.

Над генералом и дипломатом пролетают аэростаты, с которых французы ведут воздушную разведку. Дипломат разворачивает чертеж изобретенной им рудничной лампы. Дезе живо заинтересован. Он обещает даже устроить сообщение о лампе в Национальном институте.

Однажды прусский королевский дипломат разговорился с часовым из приставленного к нему почетного конвоя. Приноравливаясь к интересам рядового бойца, дипломат спросил, хорошо ли дрались войска австрийского императора.

— Это звери, — ответил часовой. — Они убивают пленных!

— Но признайтесь, что все-таки они хорошие солдаты.

— Солдаты! — воскликнул француз. — Нет, гражданин, нельзя быть солдатом, не будучи человеком, Эти люди не знают о человечности!

То был молодой парень, лет двадцати.

Проходя по лагерям рейнской армии, Гумбольдт слышал шумные крики радости. Долетели вести о победах итальянской армии, которую вел генерал Бонапарт.

— Это общее дело, — объяснил Гумбольдту какой-то солдат. — Республика должна выполнять гигантские планы!

Неслыханные слова, неслыханный язык!

В Штутгарте Гумбольдт присутствовал при подъеме аэростата. Французский генерал предложил лететь с ним. Но дипломат торопился и не мог заставить ждать свой гусарский эскорт. Впоследствии он горько сожалел, что упустил «такое счастье».

Дипломатическая миссия была тем временем выполнена удачно. Князь Гогенлоэ мог пока спокойно спать в своем дворце.

Гумбольдт вернулся домой с камнем на сердце. Он не показывал виду, но острее, чем когда-либо, осознал, что проходила, да уж и прошла юность. Что ждет его?

«Человек — странствующее творение», — обмолвился он однажды. Но его ждали не странствия, а исправная, блестящая на обычную мерку, служебная карьера. Советник горного департамента в Берлине, а потом директорство в Вестфалии или Ротенбурге с окладом в две-три тысячи талеров. Или перевод в Силезию в чине оберберграта....

Поездил — только по старой Европе. Правда, побывал и в Альпах и под итальянским небом. Еще непреодолимей стала «жажда дали»...

В ставке Моро он снова, как тогда, во время поездки с Форстером, прикоснулся на короткое время к неведомому миру. Королевский дипломат, он опять ощутил то огромное, что открыла перед человечеством революция. Вряд ли Гумбольдт сумел бы ясно ответить, что же такое это огромное? Разве вот так: на Западе внезапно разверзлась страшная (так говорили вокруг Гумбольдта в Прусском королевстве), но сверкающая брешь в будущее!

А в Пруссии не менялось ничего. Чиновничья скука, свист шпицрутенов и завывания кликуш...

Еще весной, до поездки к Моро, Гумбольдта срочно вызвали в Берлин. Мать, иссохшая и восковая, лежала в постели. В доме, казалось, целые годы не открывали окон. Пахло могилой. Страх и тоска сжали ему сердце. Затхлый воздух сдавил горло.

И теперь, по мере того как он ехал на восток, те же страх и тоска охватывали его.

Что ждет его в берлинском доме, порог которого не переступает радость и улыбка, и спущены шторы на окнах, не растворяемых никогда, и пахнет могилой?

На полдороге он получил письмо. Брат извещал его, что их мать, вдова фон Гольведе и фон Гумбольдт, властная женщина, которая всегда казалась сыновьям бесконечно далекой, надменной и неприступной, от которой не слышали они ласкового слова и которая сделала для сыновей так много, как никогда не сделал бы для них благодущный отец, умерла 19 ноября 1796 года.

Гумбольдт покидает отечество

Тегель получил Вильгельм (замок не был собственностью, но — в наследственной аренде). Александру досталось Рингенвальде.

Он не стал колебаться, что делать с этим старым дворянским гнездом. Кунт, управляющий всеми делами братьев, устроил продажу Рингенвальде поэту Клейсту.

Общая сумма наследства, которое получил Александр, составила восемьдесят пять тысяч талеров. Теперь он богат.

Он больше не чиновник. Весну 1797 года провел в Иене. Еще раз собрался старый кружок — Вильгельм и Шиллер с семьями, Гёте. Их жизнь походила на студенческую. Гёте занимался анатомическими схемами и метаморфозом насекомых, дописывая в то же время «Германа и Доротею», Шиллер работал над «Валленштейном», а Вильгельм переводил хоры Эсхила. Александр шесть часов в день просиживал на лекциях анатома Лодера.

Вечерами обсуждали дневной итог. Александр красноречиво развивал свои проекты. Казалось, он жил в завтрашнем дне. «Он прислал мне письмо, — вспоминает один из многочисленных его корреспондентов, Шукман, — полное новостей, известий, планов. Это какая-то газета».

Страстью путешествовать он заразил и брата. Было решено: братья едут в Италию. Оттуда Александр через Египет отправляется в Азию.

Но Италия была полем сражения. Южнее Вены братьям не удалось пробраться.

В Вене Александр Гумбольдт посетил клинику старого Франка. Как на местную знаменитость, ему указали на профессора Порта.

Порт жил возле ботанического сада. Лабораторией ему служила единственная комната, уставленная чучелами птиц, витринами и статуями. Все это покрывал толстый слой пыли. Гумбольдт осторожно расчистил пыль в одном месте. Под стеклом он увидел анатомические препараты, дивно сделанные, точно живые; ему показалось даже — более живые, чем в живом теле. Просвечивала каждая жилка, каждый волосной сосуд, который, казалось, нельзя было и увидеть иначе, как в микроскоп!

Профессор загудел по-французски:

— Я больше не думаю об этих безделушках, не волнуйтесь из-за них, они не заслуживают никакого внимания.

Гумбольдт собрался с духом:

— Профессор извинит меня, если я попрошу хоть что-нибудь, хоть один препарат уступить мне. Определите любую цену.

Старик захохотал:

— Мой милый, у меня триста тысяч флоринов!

И он повернулся к реторте, откуда шел бурый дым — прямо в нос бесценной античной статуе, изображавшей сына Ниобеи, и в стоявший возле нее инкубатор, где выводились цыплята.

Профессор проводил Гумбольдта до ворот сада. Тут только гость заметил странный наряд старика. Какой-то род жилета, но с рукавами, прямо переходил в штаны и чулки. Профессор походил на плохо набитое чучело. На голове его была шляпа с множеством складок. Старик посмотрел на небо, закрытое тучами, затем дернул за шнур, и шляпа распустилась в дождевой зонт.

Вильгельм из Вены уехал в Париж. На равнинах Италии продолжалась война. И перезимовывать войну Александр отправился вместе с другом по Фрейбергской академии геологом Леопольдом фон Бухом в Зальцбург.

В этом тихом городке его утешили близость Альп и обширная библиотека барона Молля.

Здесь в ноябре он встретил человека, который чуть было не определил его судьбу. То был вояжировавший англичанин лорд Бристоль, епископ Дерби. Епископский сан ничуть не усложнял лорду жизненного пути. Он любил свет, женщин, изящные искусства и безукоризненный гардероб. Он уже объехал Грецию, Иллирийское побережье и Папскую область, посвящая свой досуг археологическим раскопкам. Лорд путешествовал по старому земному шару так, будто весь он имел честь состоять колонией британской короны. Сейчас лорд проектировал поездку в Египет.

— Хотите поехать со мной? — предложил он Гумбольдту. — Я имею в виду, что вам это ничего не будет стоить. С шестьюдесятью тысячами фунтов в год можно позволить себе снарядить небольшую кавалькаду для осмотра нильских пирамид, не так ли? С нами едут Гирт, берлинский гофрат, Савари — он незаменим: восемь лет прожил в Египте, — и, я надеюсь, две дамы: графиня Деннис и графиня Лихтенау.

— Если бы мне удалось вернуться через Сирию... — решил вставить Гумбольдт.

— Какие пустяки! — перебил милорд. — Любым путем. Возвращайтесь любым путем. Мы поедем с полным комфортом. Собственное судно, разумеется, вооруженный конвой, хороший погреб и достаточно умелый повар. Иначе путешествия теряют смысл. Кроме того, я полагаю, необходимо взять двух или трех живописцев для зарисовки костюмов и монументов. Вы согласны со мной? Итак, до свидания в Неаполе!

И лорд-епископ удалился, играя тростью.

Весной 1798 года Александр Гумбольдт также уехал в Париж к Вильгельму, чтобы купить инструменты для экспедиции в Египет. Он ждал письма с назначением дня отъезда. Вскоре он узнал, что в Египет отправилась

другая экспедиция, усаженная в крайней тайне на множество кораблей в Тулоне, — экспедиция Бонапарта.

Потом пришло и письмо. Оно извещало, что игривый лорд арестован в Милане по довольно основательному подозрению в том, что он затевает английскую интригу на нильских берегах.

Фрегат «Пизарро»

То не был Париж Марата и Робеспьера — революция пошла на спад, — то был Париж термидорианской директории. Но все еще революционный Париж, столица республики. И научная жизнь кипела в нем. Какой контраст с Берлином!

Комиссия, возглавляемая астрономом Деламбром, заканчивала измерение градуса меридиана, знаменитое измерение, из которого родилась новая единица длины — метр.

В полдень 15 прериаля VI года — 3 июня 1798 года — сомкнулись отрезки измеренной дуги между Мелуном и Льерсеном.

Гумбольдт стоял рядом с математиком Лаландом и прославленным мореплавателем Бугенвиллем. Бугенвиллю было семьдесят лет, но он держался молодцевато и мечтал о втором кругосветном путешествии.

— На этот раз, — сказал он Гумбольдту, — я направляюсь к Южному полюсу. Считайте этот разговор за предложение сопутствовать мне.

В Париже в то время работали во всех областях науки десятки людей замечательной одаренности, словно выплеснутые революционной волной.

Гумбольдт встречал этих людей в музеях, в институтах, у брата. Он сравнивал своих новых знакомых с гелмштедтским Байрейсом, будто выскочившим из времен Парацельса, и с венской окаменелостью, Портом.

Лаланд говорил:

— Прогрессу математики и астрономии в Париже нечего удивляться. У нас интегрируют генералы. Какая

математическая голова у Бонапарта! Когда он в столице, он не пропускает ни одного заседания института.

И добавил усмехаясь:

— Он зовет меня дедушкой. Это потому, что он учился у Дажеле, моего ученика.

Тем временем Директория приняла решение послать вокруг света вместо Бугенвилля, у которого все-таки осталось больше энтузиазма, чем физических сил, капитана Бодена. Начались сборы экспедиции, которая должна была отплыть на трех корветах... Гумбольдту уже отвели место на корвете «Вулкан».

Пятилетнее путешествие! Он ходил сам не свой. Первый год — Парагвай и Патагония, второй — Чили, Перу, Мексика, Калифорния, третий — Южный океан, четвертый — Мадагаскар и пятый — берета Гвинеи!

Бугенвилль сам привел к нему пятнадцатилетнего сына.

— Я поручаю его тебе. Пусть он привыкает к тягостям морской жизни.

И старик заплакал.

Несколько раз, уходя из дому и сдавая ключ консьержке, Гумбольдт встречался с молодым человеком, тоже отдававшим свой ключ. Они отвешивали друг другу церемонные поклоны. Наконец они познакомились.

— Меня зовут Эме Бонплан, — сказал молодой человек. Он указал на ботаническую сумку: — Я ботаник.

Он был на четыре года моложе Гумбольдта. О себе он рассказал охотно. Он врач и плавал в Атлантике на фрегате республики, готовый применить свое искусство хирурга, как только заставят это сделать английские ядра. Затем он слушал Дезо, великого Биша и Корвизара. Стоит ли говорить, что каждый из этих троих — светило медицины. Однако Бонплану все-таки надоело пускать кровь и ставить клистиры, — увы, такова профессия врача! Но и отбивание породы от

ископаемых костей, похожих на обломки окаменевшей палицы Геркулеса, как и потрошение морских ежей, также оказалось не тем, о чем он мечтал.

Больше всего он любит природу, живую и благоухающую. И вот сейчас он собирает цветы и травы.

Гумбольдт пришел в восторг, узнав, что и Бонплан едет с Боденом!

На корветах ставили мачты. Вечерами, оставаясь один, Гумбольдт читал «Эпохи природы» Бюффона и Бернардену де Сен-Пьера, который жеманным слогом рассказывал об острове, похожем на рай, где роскошные цветы и птицы, ярче алмазов, были свидетелями любви Поля и Виржини.

«Человек должен желать доброго и великого, — записал Гумбольдт. — Остальное зависит от судьбы...»

Розовый туман внезапно рассеялся. Директория, готовясь к войне, отменила дорогостоящую экспедицию.

Но нет, он все-таки поедет. Теперь он непременно поедет!

Перебраться в Африку, пересечь пустыню с попутным караваном, присоединиться к египетской армии... Шведский консул Скъелдебрандт обещал устроить переезд через Средиземное море на фрегате «Ярамас», который вез подарки алжирскому бею.

Гумбольдт простился с Вильгельмом (брат заплакал) и с парижскими друзьями, причем капитан Боден назвал его отъезд «расторжением брака» и шумно расхохотался. В Марсель Гумбольдт отправился с Бонпланом, самым недавним и уже самым близким другом.

Шведского фрегата не было. В ожидании путешественники собирали раковины и крабов на берегу, возле которого волны колыхали бурые лохмотья водорослей — фукусов.

Съездили в Тулон. На рейде стоял фрегат «Капризная» — фрегат Бугенвилля, обошедший вокруг

света! Гумбольдт спустился в каюту. Он сел у окна и десять минут смотрел на сверкающее море.

Прошло два месяца. Ежедневно друзья взбирались на гору, откуда видны приближающиеся корабли. Наконец они узнали, что «Ярамас» разбился у берегов Португалии и экипаж его погиб.

Тогда Гумбольдт подрядил в марсельской гавани барк, который должен был перебросить их на африканский берег. Но восемь дней свирепствовал шторм. Затем им отказали в паспортах. Только долгое время спустя выяснилось, что и за это им следовало благодарить судьбу. В Тунисе были перебиты все пассажиры-французы и вообще все приехавшие из Франции.

Открытой осталась одна дорога — в Испанию. В самом конце 1798 года Гумбольдт и Бонплан отправились туда.

В деревнях, укрывшихся среди фисташковых рощ, жили нищие. В харчевнях не было хлеба. Но Гумбольдт жадно смотрел на пальмы и розы, и ему казалось, что никогда до этого момента он не видел деревьев и цветов.

4 марта 1799 года путешественники уже стояли на террасе дворца Инфантадо в Мадриде.

Саксонский посланник Форель представил немца и француза дону Уркихо. Этот кичливый человек был либералом; он переводил Вольтера. Вчера ему грозила инквизиция. Завтра его ждет камера в памплонской крепости. Но сегодня он первый министр — кратковременная политическая комбинация властителей Испании и громадная удача для двух молодых гостей пиренейской столицы.

Уркихо ввел их к королю, в его весеннюю резиденцию — Аранхуэц, окруженный парками и лесом, зеленый остров посреди пустынных равнин и нагорий.

В те времена значительная часть Америки принадлежала Испании. Испанскими были Калифорния, Флорида, Луизиана, Техас, Мексика, средняя Америка с вест-индскими островами и вся Южная Америка, за исключением Бразилии, Патагонии и Огненной Земли.

Красно-желтый флаг развевался над огромной территорией — от 38° северной до 42° южной широты. Там господствовали нравы, мало изменившиеся со времен конкистадоров. Но метрополия, знавшая лишь «хозяйство» меча и иезуитского креста, выжимала до смешного ничтожные доходы из своих чудовищных по размерам колоний.

Мадрид чувствовал, что он ведет на нитке великана. И в Мадриде следовали политике всех бессильных и трусливых деспотий. Закрывать заокеанские владения от постороннего глаза, от всего мира! Пусть никто не переступает их границ. За торговлю с иноземцем американскому резиденту полагалась виселица, а в лучшем случае конфискация имущества. Бессрочная тюрьма ждала того, кто попытался бы собрать статистические данные или сведения об управлении в испанской Америке. За три столетия в испанскую Америку было допущено только шесть научных экспедиций. Путешественники снимали карту побережья, смотрели в трубу на звезды и присылали в европейские музеи немного сухой травы и птичьих чучел.

Мало кто решался углубляться в страну по большим рекам. Так, Солана поплыл в 1754 году по верхнему Ориноко и привел назад из трехсот двадцати пяти спутников всего тринадцать.

Что же сказал Гумбольдт королю? Несомненно, он призвал на помощь все свои дипломатические таланты. Он завел речь о колоссальных, еще неизвестных богатствах Америки, о золотом потоке, который польется в тощую испанскую казну в результате

путешествия человека компетентного и самоотверженного. Он польстил Карлосу Четвертому Бурбону, уверив его, что так произойдет именно в его царствование. Гумбольдт обращался при этом и к сидящему перед ним громоздкому простаку-атлету и к истинной повелительнице Испании, королеве-итальянке Марии-Луизе, рыхлой, черной, униженной драгоценностями, сластолюбивой, недоверчивой, гротескной, с лицом, похожим на раскрашенную маску.

Каких чувствительных струнок коснулся Гумбольдт в этих сумрачных душах? Случилось невероятное: он победил. Он увез из Аранхуэца письмо, в котором дон Уркихо удостоверял, что король предоставил его предьявителю право ездить, куда ему вздумается, по всей Америке, возить с собой инструменты, смотреть, что придет в голову, упаковывать в ящики кого и что угодно, и прочие, столь же неслыханные для чужестранца, отправляющегося в испанские владения, права! Силу письма друзья испытали уже в Корунье, над улицами которой торчали мачты судов, стоявших в гавани после рейса в Новый Свет. Комендант порта Клавихо прочел письмо и сказал:

— Фрегат «Пизарро» к вашим услугам, сеньоры.

Это походило на сказку. Гумбольдт почувствовал себя странствующим принцем. Но он решил воспользоваться до конца плодами своей дипломатической победы, самой блестящей из всех, какие ему приходилось одерживать. Он сказал, что хотел бы задержаться на острове Тенерифе, чтобы осмотреть Оротаву и знаменитый пик Тейде.

Клавихо поклонился:

— Капитан «Пизарро» будет счастлив следовать указаниям сеньора.

Однако прошло еще десять дней. Дул западный бриз. Ходили слухи об английских судах, блокировавших побережье.

4 июня густой туман застал горизонт. Это был предвестник попутного ветра. 5 июня Гумбольдт послал письма Фрейеслебену, Моллю и Вильденову — короткие записки с нервными разорванными фразами: «У меня кружится голова от радости...»

В два часа дня «Пизарро» под парусами развернулся в узком и длинном выходе из гавани Коруньи к морю. Волны с шумом бились о скалы гранита и серого песчаника. С палубы был виден замок святого Антония. Там в цепях умирал отважный Маласпина. Его бросили в каземат без суда, по доносу, когда он вернулся из плавания, в котором пытался найти северо-западный проход вдоль берегов Америки.

Затем «Пизарро» прошел под башней Геркулеса, или Железной башней, возносившей на тридцать метров над скалой свои стены, осыпанные птичьим пометом, сложенные — толщиной в человеческий рост — еще римлянами. Город вдали сделался похож на кучу белых раковин на рыже-бурой, сожженной пылающим закатом земле.

Солнце село. Тусклый свет из рыбацкой хижины на мысе близ Сизарги стал меркнуть. Фрегат качало.

Остров драконова дерева

Они плыли по легендарному океану древних географов, океану, который фантазия прибрежных народов населяла некогда сказочными образами. В нем гасли ветры над липкой водой, похожей на асфальт, и солнце уходило за острова блаженных, в вечерние сады, где геспериды собирали золотые яблоки.

Они плыли по торной дороге смельчаков, раздвигавших мир великими открытиями.

Две с половиной тысячи лет назад тут прошли суда финикийцев в поход вокруг Африки. В конце XV столетия Васко да Гама и Колумб провели здесь свои каравеллы, — оба отправились искать Индию: один — на востоке, другой — на западе. Это море хранило следы легендарной и героической истории человечества, как хранят их тысячелетние караванные тропы в Азии.

7 июня «Пизарро» пересек параллель невысокого гранитного, похожего на несколько сломанных зубов мыса Финистерре, что значит «конец земли».

Дули слабые ветры, сменяемые штилями, океан охватывал корабль кругом глубокой синевы.

В одном месте опущенный термометр показал на два градуса выше, чем незадолго до того. Поперек океана шла теплая струя. Каждый раз, опуская термометр, Гумбольдт находил ее. Она тянулась на сотни миль, четко отделенная от окружающих гигантских масс воды, как горячая артерия.

То было экваториальное течение.

8 июня, когда садилось солнце, на юго-востоке показались мачты английского судна. На «Пизарро» потушили все огни.

11 июня фрегат окружила стая медуз. Тысячи медуз плыли на юг, сокращая свои колоколообразные тела,

отливавшие на солнце розоватым блеском. Все море рябило ими. Выловленная медуза расплывалась на блюде студнем. Но ночью стоило слабо ударить по краю блюда, как студень заливало бледным сиянием.

На марс села ласточка; обессиленная, она далась в руки.

— Родина посылает нам последний привет, — говорили моряки.

Гумбольдт и Бонплан проводили ночи на палубе. В одну из ночей луна осветила контуры горы.

Гора была вулканом острова Ланцарота.

Днем увидели на скалистом берегу черный форт. Ему салютовали испанским флагом. Форт безмолвствовал. Тогда спустили шлюпку. Черный форт оказался базальтовой скалой крошечного островка Ля-Грациоза.

Здесь Гумбольдт впервые высадился на неевропейскую почву. Им овладело чувство, которое, по его словам, «ничто не может выразить». Берег, травы, тропинки — все вокруг казалось ему чудесным. Он не узнавал даже предметов, которые ничем не отличались от европейских или были хорошо знакомы ему по зоологическим и ботаническим садам. Рыбака, пустившегося бежать при виде пушками вооруженного фрегата, он готов был принять за представителя тех первобытных народов, о которых грезил Руссо и которых описывал Форстер.

Задолго до того, как фрегат причалил в гавани Санта-Крус, путешественники увидели пик острова Тенериф.

Кокосовые и финиковые пальмы качались над плитами набережной. Белые дома прятались в померанцевых деревьях, миртах и кипарисах.

В городе Оротаве Гумбольдт и Бонплан остановились в доме английского купца Колегана, где до них жми Кук и Банкс. Пирамида пика, казалось, висела над домиком, окутанным плющом и диким виноградом.

Фрегату «Пизарро» нельзя было задерживаться на Тенерифе больше четырех-пяти дней: англичане могли появиться в любую минуту.

Взяв проводников, друзья пошли в сторону пика.

Сейчас она молчала, эта громадина, перед ними. Но какая чудесная сила вознесла ее выше туч? Таинственная сила, воздвигавшая горы, не была ли она в то же время производящей силой земли, о которой говорил Бюффон в «Эпохах природы», силой, порождавшей и жизнь на Земле? «Что подняло горы, выровняло равнины, ограничило море берегами? — настойчиво задает себе вопросы Гумбольдт. — Сила воды или огня? Что такое вообще вулканы? Как они происходят и как действуют?»

Каменистая дорога пересекала каштановую рощу. Начались кустарники, жестколистные лавры, древовидные верески. Потом папоротники.

Стало приметно холодней. И вот путешественников встретили европейские ели и можжевельники...

Радостное возбуждение, обостряющее все душевные силы и способности, не покидало Гумбольдта. словно какую-то особенную зоркость приобрели его глаза. Разве он первый поднимался на горы? Он знал — нет, конечно. Так как же до него не разглядели то, что теперь он так ясно видел?

Внизу были тропики. Субтропики наслаивались над ними. Выше — леса умеренного пояса. А еще выше, вот за этими кустами ретама, которые ощипывают дикие козы с рыжей шерстью, крутизна, ржавая от последних лишайников, белый иней — полярная тундра.

Поднимаясь на пик, он и его спутники будто прошли всю землю, пояс за поясом, от экватора до Арктики.

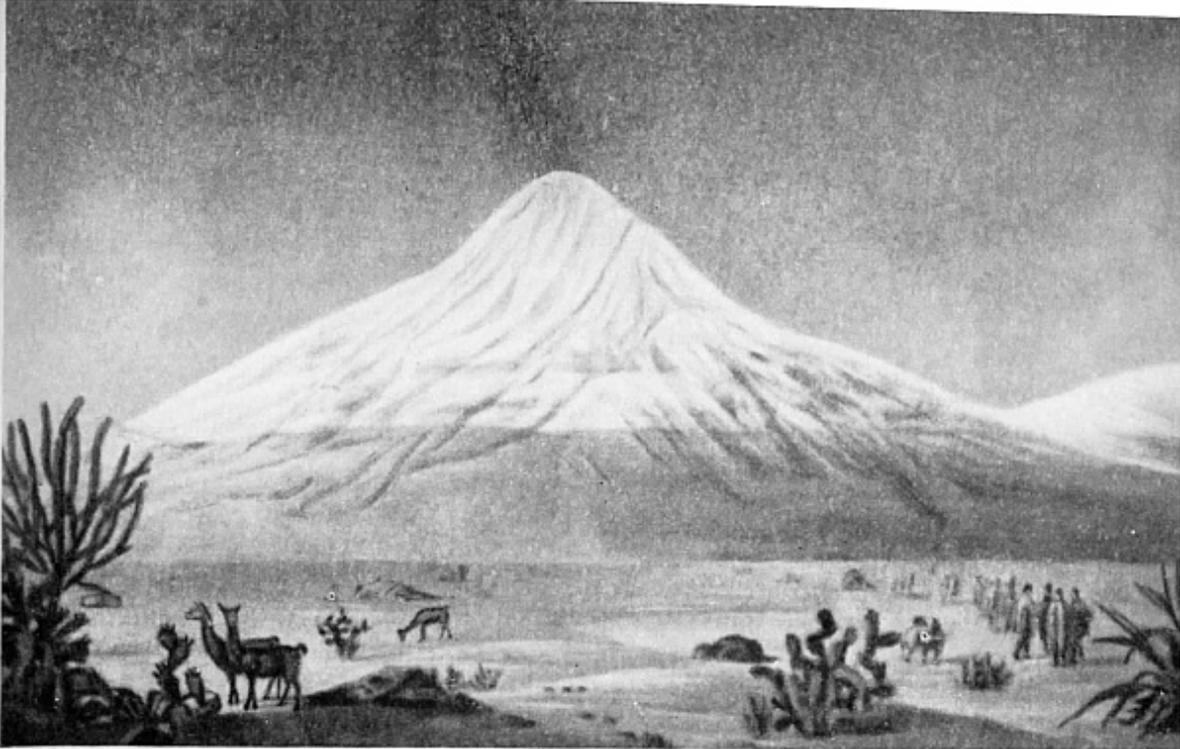
...Знание, с которым мы вырастаем, очевидное для нас знание, так что трудно даже вспомнить, в какой книге мы прочли впервые о том, что на горах есть климатические пояса и растительность распределяется

зонами, и зоны эти подобны реальным широтным зонам и поясам на земле, — это знание в главной своей части было добыто, как открытие, тогда, в 1799 году, на склонах Тенерифского пика. Историки науки выискивают догадки, какие высказывались раньше, — шутку француза Турнефора, взбравшегося на Арарат в 1700 году, замечания, кинутые Альбрехтом фон Галлером, самоуверенным законодателем биологии XVIII века, намеки (о влиянии климата) у Вильденова, учителя Гумбольдта; смутность их не идет ни в какое сравнение с безоговорочной твердостью суждений Гумбольдта...

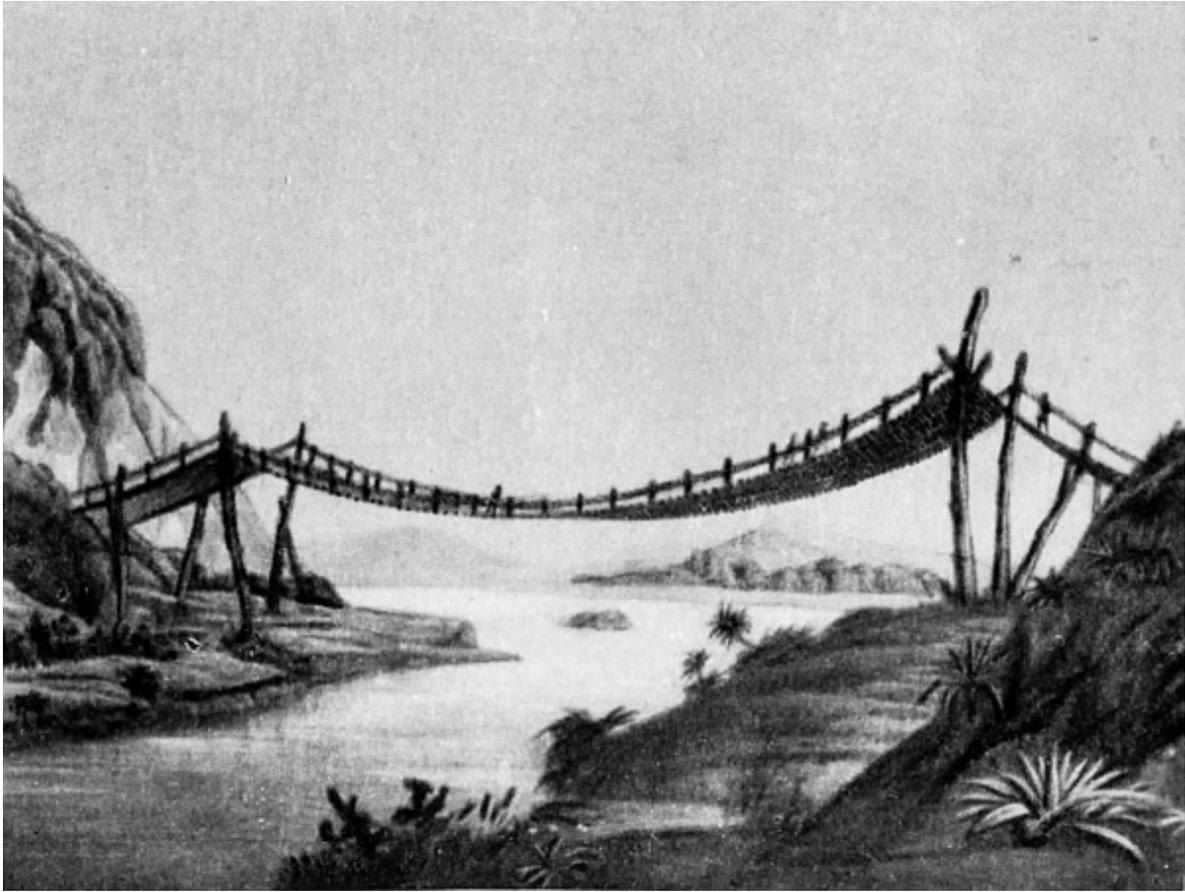
...Стемнело, путники ненадолго заснули. Спал ли Гумбольдт? Мысли непрерывной чередой возникали в его мозгу. И то же непроходящее чувство радости окрашивало их.

Тропики! Очутившись в них, замечаешь это сразу, по тысяче признаков, точно попал на иную планету. Но чем именно вызвано это ощущение? Что это за тысяча признаков?

То растительный и животный мир. Гумбольдт так поражен всем уже виденным — хотя ведь это еще острова, настоящие тропики впереди, — что он не ждет, он торопится с выводом. Да, только животный и растительный мир! Смахни его — и в узких проливах среди Канарских островов, глядя на темные береговые обрывы и ущелья, прислушиваясь к плеску воды у бортов, вообразишь себя на Рейне, где-нибудь вблизи Бонна.



Чимборасо. По рисунку Гумбольдта.



Мост через Пенипе. По рисунку Гумбольдта.



Эме Бонплан.

Даже так представляется его нетерпеливому, его слишком переполненному впервые увиденными образами сверкающей жизни тропиков воображению!

И — редкий для него случай! — тут он все-таки невольно обедняет тот мир, о необычайном, о ярком богатстве которого неотступно думает...

Не те скалы, не та почва, не то лицо земли — даже без жизни на ней! Но должно было пройти еще восемьдесят лет, чтобы другими учеными, в другой стране, России, был ясно понят и этот факт.

Путники тронулись снова в три часа ночи и еще до рассвета пришли к пещере, заваленной снегом и льдом.

Выше горной пещеры не взбирался никто. Проводники ворчали. Но Гумбольдт шел, цепляясь по кошачьи, карабкаясь на четвереньках. По сторонам вершины зияли отдушины, «ноздри» пика. В восемь часов утра по окаменевшему лавовому потоку друзья взобрались на вершину. Затем спустились в жерло кратера.

Сернистые пары прожгли им платье. Руки окоченели от холода. А по земле было мучительно ступать: на ней шипела, вскипая, вода.

Круг моря казался неизмеримым. А внизу, в гавани, виднелись даже снасти на кораблях — так был прозрачен воздух. И теперь весь этот остров, огромный, желтый, мертвый, представился Гумбольдту уже не райским садом, а только кучей пепла, чуть тронутой по краю узкой каймой людских поселений и виноградников.

В Оротаве, в саду некоего Франки, они осмотрели драконово дерево — то самое, о котором мечтал мальчик Александр в Тегельском замке. Ствол дерева был вздут, как бочка. Огромное дупло показывало, что он пуст. Путешественники измерили его: на высоте человеческого роста он имел сорок пять футов в окружности, у корня же семьдесят четыре фута.

С верхней части дерева отходили короткие ветки с жесткими розетками на конце, похожие на щупальца. Дерево напоминало гигантский полипняк.

Когда Жан де Бетанкур, нормандский рыцарь? впервые высадился в 1402 году на Тенерифе, это дерево было таким же толстым и пустым. Оно существовало, по видимому, около четырех тысяч лет.

Но до нашего времени оно не дожило.

Ураган в 1819 году сломал его вершину. Другой ураган, 2 января 1868 года, уничтожил его совсем.

Океан

Ночами море светилось. Мириады бледных, холодных огней вспыхивали в плещущей пене за кормой. Дельфины оставляли борозды сияния.

За тропиком Рака появились летучие рыбы. Они выпрыгивали почти на шесть метров из воды и, как стрелы, рассекали воздух. Гумбольдт вскрыл несколько рыб, шлепнувшихся на палубу. Две трети их тела занимал плавательный пузырь.

Ветер изменился на западный. На востоке небо странно померкло. Как бы гигантский оловянный купол встал там, почти доставая солнце в зените.

Сахара, невидимая, втягивала воздух с океана.

Иногда, все облепленные морскими уточками, седые от соли, колыхались в воде куски дерева, — Гумбольдт вспомнил о бамбуке, выдолбленных стволах сосны и трупах людей с широкими лицами, которые выкидывал прибой на Азорские острова во времена Колумба. Новый Свет через океан подавал руку Старому.

Ничто в этом мире не существовало само по себе, вне общих связей.

Однажды корабль закачался на отлогих, широких волнах. Они пришли вал за валом откуда-то из пустынного пространства, их бока тускло просвечивали зеленью. Дул слабый бриз, нигде, по всему кругу горизонта, не видно ни пенных гребней, ни тучки — никаких следов шквала. То была мертвая зыбь. Тогда особенно ясно почувствовали путешественники огромность океана.

Ртуть термометра, который Гумбольдт неумоимо опускал за борт, застывала в одни и те же часы на той же черте. Температура медленно колебалась в течение суток — точно дышала гигантская грудь. Море в

среднем было теплее воздуха. Казалось, оно жило отдельной жизнью и общая работа связывала его.

Гумбольдт прилежно отыскивал эти связи. День его, как всегда, был полон до краев. Тому, что он делал на фрегате «Пизарро», еще не скоро дадут имя: в то время еще не знали науки океанографии.

Он установил, что термометр иногда мог служить лотом. Глубина и донный рельеф отражались на температуре. Приближение мели давало о себе знать более холодной водой.

Стрелка компаса указывала на северную оконечность Америки, где лежал магнитный полюс. Изредка стрелка компаса начинала плясать: проносилась невидимая и неслышная магнитная буря. В это время на Солнце наступал максимум пятен. Общая работа связывала мир.

Ночами Гумбольдт направлял трубу на бархатно-черное небо, все засыпанное почти пылающими звездами. Он следил, как меняется картина созвездий. Местами на небе зияли проедины — глухие беззвездные пятна. Им уже удивлялся астроном Гершель. «Угольными мешками» метко называли их. Гумбольдт не астроном, но мир един, прекрасный и постижимый. Никогда Гумбольдт не был тверже уверен в этом, чем в те дни и ночи радостной ясности мыслей, когда ему представлялось, что природа там сама рассказывает себя. И в какую-то из ночей на «Пизарро» он видит простейшее объяснение тайны небесных проедин — не придумывает, а именно видит, доверяя непредвзятости своего зрения: звезды там заслонены темными, непрозрачными массами материи, холодной космической пылью.

Это то — проще простого — объяснение мрачных зияний на небе, которое и сейчас принято в науке.

От северной оконечности острова Зеленого Мыса «Пизарро» повернул на запад. На запад поворачивало и

течение. Гумбольдт исследовал во всех подробностях эту мощную широкую струю теплой воды с тех пор, как корабль вступил в нее. Он сличал свои наблюдения с рассказами моряков, с описаниями старых путешествий. Производил сложные расчеты. И по расчетам выходило, что струя воды обходит в этой части Атлантики в течение двух лет и десяти месяцев круг в семнадцать тысяч километров. О скалы африканского мыса Лопец разбился, английский корабль. Через несколько лет океан вернул его груз — бочки с пальмовым маслом отправителю. Их понесло к Южной Америке, а оттуда к берегам Шотландии.

Ночью 4 июля над водой всплыли четыре блестящие звезды и ряд мелких, образующих две пересекающиеся линии. Это был Южный Крест.

На корабле начался тиф. С колосниками на ногах опустили в океан умершего девятнадцатилетнего астурийца, ехавшего в Новый Свет за счастьем. Капитан решил вести корабль в ближайшую южноамериканскую гавань.

13 июля показались крутые берега островов Табаго и Тринидада.

16-го они увидели город, похожий на Тулон; над ним высились горы, до самых макушек покрытые лесом.

Это была Кумана.

Жизнь всеобоживляющая

За двадцать пиастров в месяц Гумбольдт и Бонплан сняли домик. Им прислуживали две негритянки.

Друзья почти не бывали дома. Они гуляли по улицам, где изгороди из кактусов огораживали дворы. В крепостном рву жили крокодилы. Часть города была в развалинах — память о землетрясении 1797 года.



Карта путешествия Гумбольдта по Южной Америке.

Друзья видели кокосовые пальмы, пизанги, поинцианы с букетами ярко-красных цветов и целую толпу растений, которых не было ни в одном

ботаническом справочнике. «Какие деревья! — восклицает Гумбольдт. — Какие цвета птиц, рыб, даже крабов — небесно-голубых и желтых! Страна настолько неизвестна, что только два года назад описали новый ботанический род. А это огромное дерево — мы его нашли сразу после приезда — шестьдесят футов высоты, с тычинками длиной в дюйм...»

Растительная жизнь вырывалась изо всех пор этой вулканической земли. Камень, положенный вчера, сегодня исчезал в зеленой пене безыменных трав.

«Мы бегаем, как дураки. Первые три дня ни за что не могли взяться. Бонплан уверяет, что сойдет с ума, если чудеса не прекратятся...»

Вечерами зажигались огромные тропически звезды. Венера казалась радужным кружком. Она светила, как маленькая луна, и при ее свете Гумбольдт разбирал деления на своем секстанте. Он записал:

«Я чувствую, что здесь буду очень счастлив».

4 сентября Гумбольдт с Бонпланом выехали в область каймасских индейцев.

Из почвы били ключи. В морщинах стволов гнездились орхидеи. Временами яростные, хриплые крики потрясали лес. Путешественники осторожно двинулись на крики. Кричала птичка величиной с дрозда. Ее гнездо, напоминавшее бутылку, висело на самом густом и высоком дереве.

Быть может, здесь Гумбольдту впервые и пришла в голову мысль о «всеоживленности» поверхности земли.

Жизнь! Что значат рядом с нею тощие Схемы Линнея, пыльные томы Гесснера, даже грядки с «естественными отрядами» растений, устроенные в Парижском ботаническом саду Жюссье, садовником республики?

«Куда ни обратит свой взор естествоиспытатель, везде встречает он жизнь или зародыш, способный произвести ее».

Однако леса, где думал Гумбольдт о всеоживляющей жизни, не были девственными лесами. Деревья расступались, открывая хижины среди сахарного; тростника, пизангов и кукурузы. Индейцы, голые или с повязкой на чреслах, трудились в поте лица на плантациях. По воскресеньям они крестили лбы, как выучили их добрые отцы, которым, впрочем, и принадлежал урожай земных плодов, выращенных краснокожими чадами.

Монастырь Карипе был административным центром местности. Католические падре играли большую роль в системе испанского управления колониями.

Старый приор удивлялся, как можно совершить столь далекий путь ради раскалывания камней и натывания бабочек на булавки. Крепкокостый и меднощекий, он дал понять, что ничуть не верит, будто гости пересекли океан, чтобы размахивать сачками и отыскивать окаменелости.

Гумбольдт обезоружил его своей любезностью. Дело закончилось сытной трапезой.

— Камешки, бабочки, булавки, — бормотал приор. Медные щеки его пылали; он походил на седобородого бронзового Вакха. — Мы живем в местах, где наши поучения охотнее повторяют попугаи, чем индейцы. Но что такое скука, мы не знаем. Я скажу вам, вы сейчас молоды, но потом вы поймете. Хорошо изжаренный кусок свинины — большая радость. В этом видна благость господня. Ибо по его неизреченной милости мы никогда не лишены этого наслаждения, простого и — не надо кривить душой — прекрасного.

В долине Карипе зияла пещера Гуахаро. В индейских поселениях о ней рассказывали легенды. Проникнуть до конца пещеры не решался никто.

Гумбольдт и Бонплан вошли в пещеру. Они спугнули тысячи ночных птиц. Хлопанье их крыльев и крики под

низкими черными сводами казались оглушительными. Помет сыпался дождем.

В воздухе Куманы появился красноватый пар. Густой туман окутал город и порт. Ночью удушливый воздух издавал, как показалось Гумбольдту, слабый серный запах.

Раздался подземный удар. Стены заколебались. Гумбольдт был в числе немногих, не поддавшихся панике. Он следил за стрелками компаса и электроскопа, за поведением животных — на них все виднее, чем на людях, — и, наконец, за самим собой. Впоследствии он записал: «С детства мы привыкли, что подвижна вода, земля — неподвижна. Во время землетрясения чувствуешь нечто вроде пробуждения. Одно мгновение уничтожает иллюзию целой жизни. Впервые видишь перед собой неизвестную силу. Впервые не доверяешь той почве, по которой так долго ходил. Землетрясение кажется чем-то вездесущим, беспредельным. От потока лавы можно уйти. При землетрясении же, куда ни беги, все оказываешься над самым очагом гибели».

Через восемь дней Гумбольдт и Бонплан стали свидетелями другого поразительного явления. Это был, ставший знаменитым после Гумбольдтова рассказа, дождь падающих звезд 12 ноября 1799 года. Гумбольдт впервые научно описал встречи Земли с гигантским метеорным роем. В течение трех часов небо бороздили пылающие полосы. Метеоры сверкали белым светом, рассыпая зеленоватые хвосты.

Гумбольдт предсказал, что огненные дожди должны периодически повторяться, ибо орбита Земли пересекается с орбитами метеорных роев, и моменты встреч могут быть вычислены.

Эта мысль вошла в азбуку астрономии. А в сотни учебников и хрестоматий вошла картинка,

изображающая Гумбольдта и Бонплана на фоне неба в огнистой штриховке.

Но объяснение, данное Гумбольдтом, ставши азбучным, сделалось почти безличным. Нужно отвлечься от нашего современного уровня знаний, чтобы представить себе все значение сделанного Гумбольдтом. И в этом случае и во множестве других.

Между тем приближалось время дождей. Воздух терял прозрачность. Ночами звезды светили тускло.

Оставляя Куману, Гумбольдт испытал тоску разлуки.

Каракас^[4], закрытый вечерним туманом, напомнил ему о пейзажах в горах Гарца.

В Каракасе он провел два с половиной месяца. Поднимался на гору Силлу, не слишком высокую, но на ней, как уверяли Гумбольдта, никто до него не был.

На лугах, у вершины, среди ежевики и желтых цветов, напоминавших лилии, Гумбольдт тщетно искал альпийские розы. Их не было во всей Южной Америке. И только потом, на плоскогорьях Мексики, он нашел розу Монтесумы.

Местностью «проклятой», по выражению испанских резидентов, путешественники отправились на запад. Они видели поля, дававшие урожаи сам-двадцать, и озеро Валенсию, вокруг которого хищнически вырубали роскошные леса. «Природа, — записал Гумбольдт, — раскрывает свои тайны и свою красоту только перед тем, кто способен понимать их».

Около фермы Барбула Гумбольдт, первый из натуралистов, увидел и описал коровье дерево. Оно росло на скале, листья его были сухи и жестки и казались мертвыми. На восходе солнца к дереву сходились индейцы. Они просверливали кору. И белый, густой, сладковатый сок лился в тазы и сосуды из тыквы. Одни пили молоко тут же, другие уносили его в хижины для своих детей.

В Порто-Кабелло остановились на несколько дней.

Отсюда предстояло двинуться в глубь страны, почти неведомой. Резиденты в Порто-Кабелло, как раньше в Каракасе и в Кумане, отговаривали обоих путешественников. Их пугали и желтой лихорадкой, и ягуарами, и дикарями. Резиденты жались к морским берегам. О внутренних областях они не знали почти ничего.

Золотая страна Эльдорадо

Степи были как море. Волны ветра пробежали по злакам, крошечным мимозам и «сонным травам», сжимавшим листья, когда их касался человек или животное.

Крапчатые олени, похожие на козлов, поднимали из травы морды и нюхали воздух. Кое-где группами и в одиночку росли пальмы. Литые шары деревьев какао бросали черную тень; издали в воздухе, струящемся от зноя, их можно было принять за черные шатры стойбища кочевников, мимо которого проносятся призрачные стада.

Сухой треск цикад сыпался из высоких трав. Жизнь, кишевшая в них, давала о себе знать шорохом, писком, свистом птицы. Иногда выкатывалась, словно выброшенная расступившейся водой, тупорылая морская свинка и в беспомощном испуге топталась на месте. У ручьев находили широкие, как блюдечки, следы ягуара. Лента, выдавленная на рыхлой земле, указывала, что тут проползла змея.

На юге громоздились облака, белые и крутые, как меловые горы.

В этих необозримых степях — льяносах — жили скотоводы. Их тростниковые хижины, покрытые воловьей шкурой, были отделены друг от друга двадцатью четырьмя часами пути. Льяносы стлались от Каракаса до горного кряжа на юго-западе, который конкистадоры, залитые кровью, некогда назвали «Прекрасным местом Вечного мира».

Днем небо было голубым, почти синим. Ночью, когда зажигались звезды, Гумбольдт видел недалеко от Южного Креста тусклое сияние Магеллановых облаков.

Магеллановы облака! Поверье о них сложилось давно, еще тогда, когда первых испанских завоевателей поразило это сияющее скопление звездной пыли, невидимое в Европе. Как, в чьей голове родилась нерушимая уверенность, что это отблеск Эльдорадо — скалы серебра и золота, скрытой в горах Париме, на южной границе льяносов?

Люди шли за обманчивым огоньком легенды об Эльдорадо.

Шли авантюристы и конкистадоры в шлемах и панцирях, с мушкетами, мечами и лопатами, глядя на золотые Магеллановы облака на южном небе.

Они не могли дойти до Эльдорадо, как не могли дойти и до звездных облаков. Люди гибли. Тропические ливни омывали их кости. Миновало два столетия — и охотники за золотом, смелые, алчные, жестокие, углублялись по-прежнему в льяносы, навстречу звездным облакам. Вместо шлемов они несли с собой географические карты отцов-иезуитов. Там была обозначена золотая скала среди Паримского озера, обширного, глубокого, как море, и золотой город Маноа на ней. И даже мадридским министрам снился плеск его волн и нестерпимое сверкание золота... О, если бы осенило оно нищую и дряхлую кастильскую корону! В 1775 году кабинет принял решение покончить, наконец, со всеми тяготами и неприятностями, так обильно выпадавшими на долю пиренейской монархии. Найти Эльдорадо! Снова сотни солдат тяжелым шагом двинулись через льяносы. Они не пришли обратно. И мечта трех столетий — золотая птица Эльдорадо — так и осталась не пойманной...

Это случилось всего двадцать пять лет назад. Гумбольдт шел к Сьерре Париме по пути испанских солдат. Но не сказка об Эльдорадо интересовала его. Он смотрел и считал, определяя по цианографу степень синевы темно-бирюзового неба. Земля горьких трав и

серебристых злаков, безлесная земля льяносов делала небо сухим и прозрачным, как протертая линза. Дальше к югу оно мутнело. Туда долетало влажное дыхание великого леса, еще невидимого.

Земля и небо — это опять отчетливо увидел Гумбольдт — были связаны.

Восприятие мира у Гумбольдта было по преимуществу зрительным. Ни звуки, ни запахи для него не характеризовали природы, музыки он никогда не любил. Его картина мира и в этом отношении резко отличалась от картины мира поэтов-романтиков, «Лучшее описание мира, — говорил он, — есть то, при котором ухо обращается в глаз».

Огромные косяки диких мустангов пересекали дорогу каравану. Они срывались в галоп, ломая низкие заросли пальмы мавриции. Из сердцевины этой пальмы индейское племя гуаранов делало круглые хлебы. Сок гуараны сбраживали в вино. В дорогу брали плоды. Из листовенных жилок плели ткани. Из стволов строили хижины. Одна эта пальма могла прокормить, одеть и защитить от непогоды человека. Какое богатство природных возможностей, — и какая пустыня, какая нищета редкого бродячего населения, таящегося, как звери!

Он смотрел и считал.

В гербарий должны были войти, насколько это удастся, все образцы растительного мира. Но надо не просто привезти в Европу диковинку, а отыскать и указать связь между организмом и местом его обитания, — для Гумбольдта такая задача казалась сама собой очевидной. Она вытекала из той картины мира как целого, которую он видел и которая повелительно требовала искать, изучать всеобщие связи.

До Гумбольдта так не делал никто. Да и долго после него с такой точностью делали немногие. Гумбольдт

помог научной географии растений выйти из младенческих пеленок.

Бонплан оказался идеальным спутником. Он был весел, в нем горел энтузиазм коллекционера. Он мог целыми днями собирать листья, ветви и цветы, весело балагуря, в то время как Гумбольдт с помощью барометра определял высоту того места, где найдено растение, отправляемое в гербарий.

Бонплан преклонялся перед Гумбольдтом, перед его неистовой работоспособностью, его умением видеть связь всех вещей.

Но зато Бонплан чувствовал себя как дома среди цветов, стеблей, крон неведомых деревьев, похожих на шатры, и среди ножниц, клея, бумажных листов и деревянных ящиков для ботанического гербария.

Друзья дополняли друг друга. Дополняли и в том, что Бонплан был беден, Гумбольдт богат; путешествовали на средства Гумбольдта.

Общей у них были живость характера и потребность друг в друге; и ясными вечерами оба они одинаково не жалели о том, что Магеллановы облака, более далекие, чем самые дальние звезды, никак не могут отражать блеска золотой страны — Эльдорадо.

Касикьяре — водяной мост

Город Калабосо состоял из двух десятков тростниковых хижин и нескольких деревянных домов. В нем жило пестрое население — индейцы, креолы, испанцы. Половина жителей приезжала из степей и уезжала снова в степи.

Город-деревня казался случайным и колеблющимся сгущением льяносов.

Вблизи Калабосо Гумбольдт остановился посмотреть охоту на электрических угрей. Еще со времени своих «гальванических» опытов он придавал громадное значение животному электричеству. И давно мечтал понаблюдать этих странных пресноводных рыб, носящих в своем теле настоящую лейденскую банку — самое поразительное орудие нападения и защиты. Здесь, под Калабосо, огромные, почти двухметровые, желтопятнистые угри сделали непроходимыми переправы через речки.

Индейцы кнутами и палками загоняли в воду лошадей и мулов. Рыба, извиваясь, прикладывалась к брюху лошади. Электрическим ударом она поражала одновременно сердце, внутренности, брюшные нервы. Сильная лошадь делала чудовищный прыжок и падала. Другие с диким ржанием бросались на берег. Их встречали бамбуковыми палками.

Но мало-помалу электрические разряды становились слабее. Сила угрей истощалась. Рыбы больше не нападали, — извиваясь, как огромные черви, они почти выбрасывались на берег, спасаясь от лошадиных копыт. Тут их били гарпунами и затем волочили в степь.

Гумбольдт делал опыты над пойманными угрями. Он исследовал анатомию их электрического органа.

Гумбольдтово описание ловли электрических угрей, как и многие другие описания, сделанные во время путешествия, стало классическим и на целый век вошло в зоологические хрестоматии.

Тридцатого марта 1800 года Гумбольдт и Бонплан отплыли из города Апуре по реке Апуре в пироге с пятью индейцами. Так вот он, наконец, девственный, первоначальный лес!

Он был стар, как хребты Анд, и обширен, как материк. Река, по которой они плыли, была единственной Дорогой в нем. Тучи moskitov облепляли тело, набивались в нос, лезли в глаза.

Пирога прошла мимо острова Диаманта, где цамбо, полуиндейцы-полунегры, возделывали сахарный тростник. Стаи фламинго поднимались с реки и пурпурным облаком колыхались над деревьями. Река сузилась. Лодка скользила словно по ущелью с отвесными берегами и текучим серебристым дном.

Дважды в день, на восходе и на закате, лес как бы высылал к реке вестников своего неведомого населения. В просветах непроницаемой стены кустов молочая показывались тапиры или стадо диких небольших свиной-пекари. Мелькали хохолки и гребни пестрых птиц. Однажды с пироги заметили дымчатый очковый рисунок желтых и черных пятен на гибком теле гигантской кошки.

Ночью на каком-нибудь песчаном мыске путешественники чувствовали себя как на тесном карнизе скалы. Жилистые ветви, полные сока, едко чадили: костер было трудно разжечь.

Всходила луна. Небесное пустынное сияние сливалось с безмерной пустынностью земли.

Плеск воды и вздох. Еще и еще. Серые бугры всплывали у берега. На огонь собирались крокодилы.

И сразу, точно прорвав незримую плотину тишины, поток звуков вырывался из черного недвижимого леса.

Рев, оглушительный скрежет, хрипенье, уханье, словно тяжелые шаги кого-то, кто идет, сотрясая деревья. Тонкий и пронзительный, держался с минуту крик на высокой ноте, затем исчезал. Потом возникали звуки, похожие на флейту; они перекидывались на другой берег реки и рассыпались по всему залитому лунным светом миру.

— Звери празднуют полнолуние, сеньоры, — говорил индеец.

«Мне же показалось это явление, — записывает Гумбольдт, — следствием яростной борьбы между животными, захватившей весь лес, разбудившей даже спящих. Стоит сравнить это явление ночного шума, так часто повторявшееся для нас, с необычайной тишиной, царствующей между тропиками в полуденный час жаркого дня».

Изредка пирога встречала людей, жителей великого леса. Они называли себя ярурами и ахагуассами, а в миссиях их называли дикими. Они не умели крестить лбы под звуки воскресного колокола; в остальном они знали все, что знали индейцы миссии, и еще многое, что те забыли.

Их дети играли семенами вьющейся лозы, похожими на бобы. Они терли их друг о друга, пока бобы не начинали притягивать белый, как вата, пух. Так в детские игры ушел древний человеческий опыт с электричеством — взрослые в этом лесу (да ведь и не только в этом лесу!) не знали, что делать с ним.

Пирога становилась странствующим зверинцем. В клетках сидели обезьяны, попугаи, толстоносые туканы, стояли друг на друге ящики с гербариями Бонплана.

Когда встречали индейцев, Гумбольдт нередко кричал им, чтобы они поймали животное или достали цветок. Иногда речь шла о каких-нибудь широких листьях, пучком торчавших в семидесяти футах над головой. В этом лесу всюду, на каждом дереве,

виднелось множество разных листьев и цветочных гирлянд. Каждое дерево было как бы ботаническим садом. И нельзя было определить, принадлежат ли широкие листья с сетью смарагдовых жилок, с зубчатым, краем этому дереву, или паразитам и эпифитам, выросшим на нем, или растениям-удавам — лианам, или, наконец, соседним гигантам, крепко обнявшим друг друга.

— Индеец крался по ветви, высоко протянутой над водой. Маленький серый комочек был виден на конце ветви — быть может, опоссум, сумчатая крыса. Зачем она ему? Корысти в ней никакой — просто так, игра. А он крался с неистощимым терпением, рискуя свалиться с громадной высоты. Чтобы достать листья для Гумбольдта, надо было только перейти на соседнее дерево по прочному живому мосту ветвей.

— Он получит плату за полдня работы на маисовой плантации, объясните ему! — велел Гумбольдт своим индейцам.

Они объясняли наперебой, гортанными криками. Но ловец опоссума с крысой в руках спокойно слез с дерева.

— Что он говорит? — спросил Гумбольдт.

— Он говорит, что у вас, сеньор, нет такой вещи, какая могла бы понадобиться ему.

Этот случай, незначительный, но Гумбольдту показавшийся необычайным, поразил его. Индеец, не имевший ничего, считал себя богаче всех богачей земли!

Уже на Апуре Гумбольдт убедился, что не так вьется река и не таковы равнины и возвышенности на протяжении сотен километров их пути, как это обстоятельно обозначено на разноцветном куске бумаги, усеянном испанскими названиями, — на ландкарте Ла Крус Ольмедилла.

Впрочем, места, куда теперь вступали путешественники, даже Ольмедилла изображал беглыми мазками.

Огромная, мутная, движущаяся водяная равнина открылась впереди. Ветер срывал пену с косых гребней. То была река Ориноко. Деревья на том берегу казались игрушечными. Они сливались в лиловатую полоску.

Волны захлестнули тяжело груженную пирогу. Они смыли несколько книг и часть провизии.

Двинулись вверх по реке. На заднем конце пироги стояла маленькая беседка, где можно было лежать или сидеть согнувшись. На переднем конце попарно гребли нагие индейцы. Они пели тягуче и заунывно. Они не знали слова «Ориноко». Имена даются предметам, которых много и которые можно спутать. Ориноко — одна, и ее не с чем спутать. Ориноко была для всех индейцев безыменной рекой.

Великая река все еще расширялась; она стала как степь. Мир расступился, окаймленный двумя синевато-золотистыми полосками далекого леса. На середине реки попадались изредка птицы да серые бугры крокодилов.

Лес вошел в воду, он вступал в нее суставчатыми корнями, которые на высоте нескольких метров отделялись от стволов, как руки. Многорукий лес ощупывал почву и дно реки. В трещинах коры светились гнилушки и голубые мхи. Кора отставала толстыми слоями, точно кожа гигантских ящеров. Пестрая лента беззвучно скользила Вниз по лиане: удав поджидал жертву.

Начиналась область мелких речек-протоков, которые местные жители называли Туамини, Теми, Атабапо. Их вода была черна — пирога плыла, словно в чернилах. Обезьяны по мосту из лиан перебирались над головами людей. И вода отражала их, как черное зеркало.

Пирога проплывала местность с обнаженными обломанными стволами. Жесткие узлы растений-веревочек опутывали их, падали вниз, как плети, или стягивали через реку дерево с деревом. Веревки были голыми, без

одного листка. Они напоминали корабельные снасти. Бурый лес был обуглен пожаром.

Пальмы закачались на берегах. Их было множество. Путешественники уже видели втрое больше разных пальм, чем описали ботаники всего света.

На одной из них, на вершине стофутовой колонны, висели гроздья. Каждая гроздь походила на виноградную, увеличенную стократно, в ней было семьдесят-восемьдесят плодов, румяных, как огромные персики. Гумбольдт назвал пальму, увешанную гроздьями, персиковой пальмой.

Местность стала выше, суше, ряды холмов и горок прорезали леса. Попадались сотни змей. Это был водораздел между системами Ориноко и Амазонки.

Индейцы взвалили пирогу на плечи. Так шли три дня, все к югу. Об этих местах никто ничего не знал; они были дики и пустынно. «Во внутренних странах Америки, — пишет Гумбольдт, — привыкаешь смотреть на человека как на создание, не составляющее существенной принадлежности ландшафта. Земля переполнена растениями, развитию которых ничто не мешает. Неизмеримая полоса чернозема свидетельствует о непрерывной деятельности органических сил...» Отметим и эту вскользь кинутую мысль Гумбольдта. Нужны были десятки лет, вся работа Докучаева и Костычева, чтобы теория органического происхождения чернозема стала очевидной истиной.

Но послушаем дальше рассказ Гумбольдта:

«Крокодилы и боа владычествуют над потоками. Ягуары, тапиры, обезьяны без страха обходят леса, свое исконное владение. Вид этой буйной жизни, в которой человек не имеет никакого значения, представляет собой что-то чуждое и грустное. На океане и в песчаных степях Африки с трудом привыкаешь к безлюдью. Но там хоть ничто не напоминает наши поля, леса и реки. А здесь, в плодородной, украшенной вечной зеленью

стране, напрасно ищешь следов человеческой деятельности и, не находя их, воображаешь себя переселенным в другой мир. И чем дольше длятся такие впечатления, тем они сильнее».

Через три дня снова вышли к берегам большой реки. Это была Риу-Негру, самый крупный приток Амазонки. Пирога закачалась на волнах. Еще три дня плыли дальше к югу.

На берегу среди срубленных деревьев показались жалкие хижины миссии Сан-Карлос. Тут проходила граница Бразилии, португальского владения. Знак, что надо поворачивать к северу.

Назад решили вернуться, не покидая воды.

От Риу-Негру, несколькими днями пути выше, отходила странная река Касикьяре. Она шла в глубь лесной чащи, чудовищного сплетения растений, еще более непроходимого, чем где-либо раньше. Лили тропические ливни. Ночью не разгорался огонь и не было сухого места, чтобы лечь. Тело вспухло, яд мириад москитов наливало его тупой болью. Иногда на ночь зарывались по горло в сырой, пахнущий прелью песок и заматывали голову.

В ящиках с растениями, пересыпанными камфарой, плотно обитых, подвешиваемых на веревке, все равно находили полчища насекомых, грызущих листья. Гербарий погибал.

Ели рис, маниок, пизанги; запасы сгнили; добавляли мясо морских свинок. Но оно воняло мускусом, ему предпочитали обезьян, когда их удавалось достать.

Одежда прилипала к коже; гнойные раны не заживали.

Но в черных недрах этих лесов все-таки обитали люди. Их было мало, они появлялись редко.

Иногда ночью над гнилыми болотами, высоко в ветвях, показывались огни. Они двигались, перебежали,

останавливались. Слово огненное поселение повисло в воздухе.

Индийские деревни носили имена могучих диких зверей. Лесные люди ели муравьев, синеватую скользкую глину; в одной покинутой хижине Гумбольдт нашел остатки трапезы людоедов.

Он записал: тут существует мир, отдаленный от европейской культуры на тысячу миль и десять тысяч лет обратного хода времени.

20 мая слышался глухой шум. Вода шумела по гальке, плескались волны — река-великан подавала голос через стену леса и скал.

Их вынесло в Ориноко! Они увидели легендарное разветвление реки, в которое не хотели верить европейские географы. Часть вод уходила по Касикьяре, которым проплыла пирога. Больше нельзя сомневаться в существовании этого удивительного водяного моста, переброшенного с Ориноко к Амазонке.

Ориноко у Касикьяре течет на запад, будто она собирается вылить свои воды в Тихий океан. Но дальше она круто берет на север, чтобы затем повернуть прямо назад, на восток, к устью своему, — в Атлантический океан. Гигантская река похожа на змею, стремящуюся укусить свой хвост.

Из Касикьяре поплыли не вниз, а вверх по Ориноко и на другой день доплыли до миссии Эсмеральда. Река пробивала себе дорогу через горную страну. Вершину Иконнамари, или Дуиду, окутывали облака. Вечером в сыром воздухе приторно пахли ананасы. Тяжело свисали листья пальм, никогда не колеблемые ветром. Дикие какаовые деревья раскидывали у подножия Дуиды черные пятна своей листвы, такой плотной, что под ней не хватало воздуха для дыхания.

Здесь бродили оттомаки. Они добывали из лианы страшный яд кураре, им смазывали стрелы и ногти

больших пальцев. А из стеблей гигантских злаков делали духовые ружья.

Миссионеры рассказывали, что выше по реке находятся Гвахарибские водопады, река там узка, индейцы перекинули через нее мост из вьющихся растений. Дальше идти нельзя: в скалах и на ветвях живет низкорослое белокожее племя гвайков, вооруженное отравленными стрелами.

В этих лесах, между Касикьяре и Атабапо, путешественники то и дело встречали скалы с изображениями. На граните были высечены какие-то символы, колоссальные крокодилы, ящеры, оружие и утварь, многовесельные корабли, похожие на испанские галеоты, и лучистые круги восходящего солнца.

Гумбольдт тщательно срисовывал загадочные знаки.

Кто оставил их в недоступной чаще? Часто они высоко вознесены над землей — на самую вершину отвесного гранитного обрыва, на который не взберется и кошка. Видны огромные человеческие фигуры в головных уборах, похожих на венцы византийских святых.

Неведомые племена запечатлели на твердом камне свой мир и навсегда исчезли.

В белом дыму брызг и водяной пыли устремлялась река, как по лестнице, по длинному ряду порогов Майпуреса и Атурса. Теперь, на обратном пути, плывущие в пироге видели их во второй раз. Черные башни скал торчали из водоворотов пены. Густая сочная зелень покрывала острова, над которыми носился вечный туман.

Подходил вечер, вдали пылала коническая гора. «Она походила на красный язык пламени», — записывает Гумбольдт. Ни один человек не подходил близко к этой огненной горе, и никто не знает, какие кристаллические породы на ее склонах багряно преломляют и отражают вечерние лучи.

Цветные радуги, множество маленьких разноцветных перекрещивающихся арок, висят над водоворотами. Ветер колеблет их. Шум растет. Ночью он становится втрое сильнее.

Втрое сильнее? Что это — акустический обман? Нет, шум усиливается в самом деле. Гумбольдт исследует это явление. Вода и лес делают воздух влажным. Но в течение суток меняются воздушные течения и нагрев почвы. Они меняют влажность воздуха, и это отражается на силе звука. На земле связано все, ничто не существует само по себе. Даже законы звука нельзя понять без понимания всеобщих связей, и чтобы завершить простое исследование шума водопада, надо построить географию района.

Путешественники решились пройти, не разгружая пироги, последнюю часть водопада Атурсес. В реве и свисте падающих вод Гумбольдт и Бонплан высадились на остров. Ползком добрались до обширной пещеры. Со стен текло и капало, они были зеленые от водорослей-нитчаток; мерцали фосфорические точки светящихся организмов. Река гремела над головой. В этом подводном каземате они вздохнули впервые за долгий срок полной грудью: воздух был чист, не звенели и не липли к телу москиты.

На берегу против водопада Атурсес кустарник скрывает глубокую расщелину. В ней стоят истлевшие ряды корзин с человеческими костями — кладбище исчезнувшего племени. От него не осталось ничего, кроме скелетов, выкрашенных в красную краску или перевязанных банановыми листьями, и глиняных ваз — хранилищ обожженных костей целых семейств. Гумбольдт насчитал 600 неповрежденных скелетов.

Когда-то, рассказывают индейцы, племя атуров было многочисленно, но постепенно оно уменьшалось. Остатки храбрых атуров покинули родину, спасаясь от людоедов-караибов, и поселились в скалах гремящей

воды. Вот уже около века, как умер последний атур. Но в Майпуресе живет старый попугай. Его перья вылезли, но он говорит до сих пор. И никто его не понимает: он говорит на языке атуров, на языке, которого больше нет.

Ленивая широкая река вливалась в Ориноко. Это была Апуре. Солнце садилось. С горы внезапно открылась степь — пустое, безмерное, золотисто-бурое пространство льяносов. Они охватывали полнеба и, как океан, загибались гигантским полукругом.

В Ангостуре, главном городе провинции Гвианы, силы изменили обоим — Гумбольдту и Бонплану. Их свалила горячка. Может быть, это была реакция после страшного напряжения, возможно также, что это был тиф. Несколько дней они боролись со смертью. Прошло три недели, пока путешественники смогли покинуть Ангостуру. Они торопились доставить к морю свои бесценные коллекции. В Новой Барселоне этот груз взялся отвезти в Европу миссионер. И только через несколько лет Гумбольдт узнал, что Европа никогда не получила его: корабль, люди и все, что было на нем, погибли у африканских берегов.

Маленькое судно приняло к себе на борт путешественников. И вот 27 августа 1800 года они увидели белые домики над морем среди кактусовых заборов и горы с туманными вершинами, поднявшийся амфитеатром: Куману.

Снег и огонь

На север, все на север!

Вскоре они исходили вдоль и поперек остров Кубу с его табачными плантациями и полями сахарного тростника, где работали черные рабы, подгоняемые кнутами надсмотрщиков.

Гумбольдт интересовался экономикой, администрацией, жизненным уровнем населения, торговлей этого рабовладельческого общества; он изучал жизнь гаванского порта. Так родился его «Политический опыт об острове Кубе», в нем мы прочтем негодующие строки по адресу писателей, «которые стараются прикрыть двусмысленными словами варварство отношений рабства, изобретая термины негров-крестьян, ленной зависимости черных и патриархального покровительства».

Благородные строки. Думал ли Гумбольдт, когда писал их, и о зверской эксплуатации людей-рабов, крепостных крестьян, принадлежавших прусским баронам и помещикам?

На Кубе до Гумбольдта дошел слух, что капитан Боден все-таки отплыл из Франции и, обогнув мыс Горн, пройдет вдоль берегов Перу и Чили.

Тогда Гумбольдт покинул Кубу, чтобы снова пересечь северо-западный угол Южноамериканского материка и встретиться с Боденом на берегу Тихого океана.

Но позднее, уже в Перу, выяснилось, что капитан отправился вокруг мыса Доброй Надежды.

Снова, как год назад, Гумбольдта и его французского товарища ждала лодка и узкая дорожка воды среди удушливой лесной пустыни, для которой не существовало карт.

Они привыкли к этой дикой, тяжелой, доверху наполненной работой жизни робинзонов, отрезанных от мира. Ходили почти голыми. Солнце сделало их неотличимыми от индейцев.

Как-то нашли брошенную индейскую хижину. В ней не было окон и дверей, вела в нее нора, по которой надо было вползать на брюхе.

Распластываясь на земле, они скрывались в этом убежище от москитов. Там вдвоем часами они упорно, упрямо работали, задыхаясь от едкого дыма факела.

Только в городах они надевали платье и принимали вид европейцев. Так было в Санта-Фе-де-Богота, куда в середине 1801 года они приехали на мулах.

Гумбольдт был здоров; Бонплана была лихорадка.

В горной стране, совсем не похожей на лесистые низменности, путешественники провели почти полтора года.

Узкими тропами, в два фута шириной, перешли перевал Киндин. Обувь разорвалась, ее бросили; шли босые, с кровоточащими ногами.

Им предлагали воспользоваться, по обычаю этих мест, индейцами-носильщиками, которых называли каваллитос — людьми-лошадьми. «Было горько слушать, — пишет Гумбольдт, — когда о людях говорили, как о лошадях и мулах». Он отказался.

В Попаяне осмотрели базальтовые горы Юлусуито. Из расщелины Пураче с гулом извергалась вода, пропитанная сероводородом.

В декабре 1801 года по темным, как штольни, дорогам, где валялись кости животных, и болотам, в которых мулы увязали по брюхо, вышли к горному городку Пасто. Над ним вздымался вулкан. Жители городка почти никогда не ходили вниз. Они питались клубнями-пататами. А когда их не хватало, шли в горы за корой дерева ахупаллы, медвежьей пищей.

Тут, близ индейского селения Войзако, на высоте двух с половиной километров над морем, Гумбольдт нашел жилки и крапинки минерала серпентина, точь-в-точь такого, как в горах Фихтель, вблизи Штебена.

Два месяца лили дожди. Во время землетрясения поток хлынул на дорогу и едва не смыл путешественников вместе с вьючными животными. Впервые они перешли экватор и 6 января 1802 года прибыли в Кито. Тут не прекращались подземные толчки.

Трава покрывала развалины, под которыми пять лет назад погибло сорок тысяч человек.

Часто попадались группы скал, напоминавшие исполинские водопады, мгновенно остановленные и окаменевшие. Гумбольдт поднял с дороги камень, покрытый бурой окалиной. Он счистил этот пепел серного огня, сжигавшего землю, быть может, миллионы лет назад. Камень был обломком застывшей катастрофы.

Вся эта каменистая, колеблющаяся местность показалась Гумбольдту сводом гигантского вулкана, для которого три вершины — Котопахи, Пичинча и Тунгурагуа — служили только тремя предохранительными клапанами.

Из Кито Гумбольдт сделал несколько попыток взойти на Пичинчу. Обморок заставил его прекратить подъем в первый раз. Но он счел «позорным покинуть плоскогорье Кито, не взглянув собственными глазами на кратер Пичинчи».

Он всходит снова с индейцем и креолом. Черная отвесная стена встала на пути к вершине. Вверху реяли кондоры. Крылья их были так велики, что, распластанные, могли бы закрыть комнату. Десятки стервятников копошились у трупа павшего мула. Далеко внизу дорогой вдоль утесов ехал всадник. Гумбольдт прикинул: до всадника было двадцать четыре

километра. А можно было отчетливо разглядеть даже белый плащ-пончо на нем!

Несколько раз приходилось спускаться, отступить вниз, отыскивая проход к вершине. Склон состоял из голых камней, скользких, с узкими расщелинами, иззубренных. В углублениях стал попадаться снег. Сверху сползал дым, лишенный запаха.

На этот раз вершину взяли. В полночь вернулись в Кито. А через сутки Гумбольдт снова стоял на каменном карнизе над кратером с барометром и электроскопом в руках. Карниз зашатался от подземных ударов. Гумбольдт вынул часы. Он насчитал пятнадцать ударов в тридцать шесть минут.

Месяц спустя, 23 июня 1802 года, Гумбольдт уже восходил на гору Чимборасо, которую считали тогда высочайшей вершиной мира. Шли по гребню, иногда суживавшемуся до восьми дюймов. Слева был ледяной скат. Справа — обрыв в тысячу футов глубиной. Инстинктивно они отклонялись направо: ледяной скат казался страшнее.

На Чимборасо достигли высоты 18096 парижских футов — 5 881 метр. Гумбольдт был первым человеком, поднявшимся на такую высоту. Над вечным снегом летали желтоватые бабочки; в солнечных лучах роились мелкие крылатые насекомые. Тень кондора, похожая на быстрое облако, прыгала по утесам. Жизнь, переполнявшая низины, не прекращалась и на вершинах гор.

До конца жизни Гумбольдт гордился своим восхождением на Чимборасо. Десятилетия спустя были открыты новые высочайшие вершины и в Андах и еще выше — в Гималаях. Через тридцать лет Буссенго взошел на Чимборасо на двести метров выше Гумбольдта. Он смотрел на это без зависти.

«Мои восхождения, — писал Гумбольдт, — дали первый импульс, это они заставили обратить на

снежные горы внимание большее, чем то, которое уделяли им в течение полутора столетий до меня».

Эти месяцы Гумбольдт и Бонплан жили в Кито «со всеми удобствами, на какие можно претендовать в европейской столице». Сила письма дона Уркихо была увеличена славой путешествий в неведомые глубины материка, которым владели и которого все еще не знали и боялись испанцы.

Епископ посылал свою карету за Гумбольдтом и Бонпланом, вице-король приглашал их к обеду.

В Кито для них были всегда открыты двери виллы маркиза Сальвалегре и богачей Агирре-и-Монтуфар.

В середине прошлого столетия младшая Монтуфар показывала известному зоологу Морицу Вагнеру поясной портрет Александра Гумбольдта. Он изображен в темно-синем мундире, белом жилете, с длинными каштановыми волосами и похож на прусского придворного XVIII века. Правой рукой он опирается на свою книгу «Афоризмы из химической физиологии растений».

Подземные сады Атахуальпы

В долинах Лохи росли хинные леса. Ветер шевелил гибкие ветви высоких деревьев, и они казались красноватыми.

На седьмом году их срубали. Драгоценная кора была главным сокровищем перуанских Кордильеров. Голландским купцам только полсотни лет спустя удалось выкрасть несколько хинных деревьев из Перу и посадить их на Яве.

В то время чудесная кора была в монопольном владении испанцев, и они думали, что лечиться ею достоин только король. Гумбольдт поразился, узнав, что в год их приезда собрали всего сто десять центнеров коры и всю отправили из гавани Паита в адрес мадридского двора.

В этой местности, где солнце проходило северной стороной неба, где в горной долине узким потоком начиналась величайшая река Южной Америки — Амазонка, Гумбольдт и Бонплан вступили в страну древней культуры инков.

Высоко в горах они перешли дорогу, выложенную плитами порфира. Дорога, прямая, гладкая, несокрушимая, походила на шоссе древних римлян. Гумбольдт посмотрел на барометр. Они стояли на высоте четырех километров над уровнем моря, на несколько сот метров выше Тенерифского пика.

Перед ними, не тронутая временем, прорезала горы дорога инков.

В Тискане Гумбольдт посетил серные разработки. Пять лет назад восставшие индейцы пытались поджечь их. Они надеялись, что вспыхнет вся гора и сожжет страну, опозоренную ненавистным владычеством испанцев.

Вершины Анд походили на башни из трахита и порфира. Они возносились над скалами известняка. В этом белом крошащемся камне виднелись гигантские раковины аммонитов, круглые, как колеса, остатки устриц и морских ежей. Морское дно, окаменевшее миллионы лет назад, поставленное дыбом, поднятое на много тысяч метров в высоту!

Однажды исследователи вошли в теснину. В сухом застоявшемся воздухе носился неуловимый сладковатый запах. исполинские кости покрывали дно. Они лежали, как в общей могиле, и обращались в прах от прикосновения. Валялись прямые бивни втрое больше слоновьих. В иссохшей, гробоподобной теснине, спрятанной в желтых горах, сохранилось кладбище мастодонтов.

Миновав страну пустошей и серебряных рудников, Гумбольдт и Бонплан подошли к древнему городу инков — Кахамарке. Среди полей люцерны еще стоял полуразрушенный дворец Атахуальпы. Показывали стену, где схваченный испанцами, обреченный смерти инка провел черту, обещая до этой черты наполнить комнату слитками — золотым выкупом за себя. Впрочем, все по-разному определяли высоту черты. В часовне хранилась тоненькая плита с тремя или четырьмя пятнами кровавого цвета.

— Это кровь Атахуальпы, — объяснил проводник.

Гумбольдт установил, что «кровавые пятна» произошли вследствие выделения роговой обманки, или пироксена, из массы горной породы. Он знал, что несчастный верховный инка, крещением избежавший костра, был задушен «без пролития крови», труп его торжественно отпет в присутствии обоих Пизарро, его палачей, а затем перевезен в Кито.

Это было в 1533 году — двести шестьдесят девять лет назад.

Некий Цапля, мирный индейский вождь, живущий в Ликане, обладал множеством рукописей XVI столетия.

Гумбольдт уже легко читал по-испански. Он зарылся в них.

И перед ним встала история этой погибшей культуры, не похожей на другие, суровой, изощренной и примитивной в одно и то же время.

Манко Капак, появившись таинственным образом, как утверждали рукописи, начал династию инков. Всего сменилось тринадцать властителей. Они завоевывали окрестные племена, строили водопроводы и дороги, связав каменной сетью, общим протяжением в двести пятьдесят географических миль, все провинции своего государства, воздвигали храмы, где золотой круг обозначал солнце, светило-бога.

Впрочем, могучий Гуайна Капак, потомок Манко и покоритель Кито, сомневался, чтобы это светило, отсутствующее ночью, могло управлять миром. В XV веке он рассуждал почти так же, как философы эпохи французского просвещения.

— Утверждают, — говорит Гуайна Капак, — что солнце живет и что оно создатель всего. Но кто хочет окончить начатое дело, должен сам оставаться при нем: солнце не сделает дело за человека. И как оно может быть живым, раз оно никогда не утомляется? А если бы оно было к тому же и свободно, то оно не избегало бы появляться и в таких частях неба, где мы его теперь не видим. Следовательно, солнце подобно животному, ходящему на привязи.

Умирая, Гуайна Капак разделил свое царство между сыновьями: Гуаскаром, чье имя означало привязь, веревку, и Атахуальпой, что значит курица или петух.

Атахуальпа умертвил Гуаскара. Семь лет он был верховным инкой и, как полагалось по придворному церемониалу, никогда не плевал на землю, но в руку одной из знатных женщин своей свиты.

В июле или августе 1533 года испанцы позволили ему выйти из комнаты, где он был заключен, и посмотреть на звезды. Он увидел комету, «зелено-черную, толщиной с человека». Он узнал в ней ту самую комету, которая явилась перед смертью его отца, Гуайны Капака, и понял, что скоро умрет.

Вот что прочел Гумбольдт в старинных рукописях Цапли.

В Кахамарке жила семья индейского кацика Асторпилько, потомка Атахуальпы по женской линии.

Семнадцатилетний сын Асторпилько водил Гумбольдта по развалинам. Взбираясь на кучи щебня, он рассказывал о сокровищах, скрытых под ними. Однажды его дед или прадед, завязав глаза жене, привел ее в подземный сад. Золотые павлины сидели на золотых деревьях, покрытых золотой листвой. А под деревьями стояли золотые носилки Атахуальпы.

Женщина не смогла молчать о виденном. Но она не знала дороги туда.

— Мы стоим среди груды черепков, поросших сорной травой, — сказал юноша Гумбольдту. — А под нами, немного вправо, цветущий дурман, сделанный из золотой проволоки и золотых пластин, осеняет гробницу инки-правителя.

Гумбольдт с изумлением смотрел на своего спутника, нищего, в лохмотьях, равнодушно говорившего о мифических сокровищах инков, за которыми, как он был уверен, ему стоило только протянуть РУКУ.

— Но если так, — спросил Гумбольдт, — разве вам не хочется взять хоть что-нибудь из этих подземных богатств? Ведь вы бедны. И вы ни разу даже не убедились своими глазами в существовании вещей, которые могли бы сделать вас богаче испанского короля!

— На что они нам? — был ответ. — Белые возненавидели бы нас. А сейчас у нас есть маленькое поле и хорошая пшеница...

Дни, недели и месяцы в горах. Уступы скал восходили ввысь ступенями лестницы, вырубленной титанами. Под ногами осыпались куски кварца; они увлекали камни и обломки скал на крутых склонах, и грохот обвала пушечной канонадой подхватывало эхо. Затем неизмеримая тишина поглощала его и смыкалась снова. Выси были туманны. Вечные снега реяли, как облачная гряда. Промозглая сырость липким слоем оседала на одежде, на теле; глубоко внизу серебристой молнией рассекала Анды река Магдалена.

Гумбольдт был непрерывно занят измерениями, вычислением высот, нанесением на карту пути. Наиболее замечательные облики местностей он срисовывал. Но все это еще не помогало разобраться в запутанном лабиринте этой горной страны. А между тем он не сомневался, что тут была, тут должна быть закономерность, — ее нужно понять, отыскать способ в нее проникнуть, в природе невозможен хаос.

Он изобретает новый способ — чертеж пройденных перевалов, хребтов, долин. Линии чертежа соединяли измеренные высоты. Анды представляли как бы в разрезе.

И сотни разрезов помогли разгадать лабиринт. Открывалась гармония в расположении дугообразных складок, цепей вулканов у самого края материка.

И тогда, с этих высот, яснее представилась Гумбольдту вся Южная Америка, напоминающая Африку по своим очертаниям и так не похожая на нее по своему внутреннему устройству.

На западе материк вздымался гигантскими волнами Кордильеров. Последние всплески этих гор, пройдя по берегу Венесуэлы мимо Каракаса, затухали на Атлантическом побережье вблизи устьев Ориноко. И,

словно их отзвук, начинаясь еле заметными холмами в степях, вставали горы Гвианы, а южнее, пропустив долину Амазонки, поднималось широкое Бразильское плато. В этом чередовании поднятий и низменностей, затиший и бурь, некогда вздыбивших землю, чудилось ритмическое дыхание материка.

...Вечерами погонщики мулов рассказывали горные истории. Мир, простертый внизу, сгорал в дыму и пламени. Он скоро остывал под сизым пеплом сумерек. И только один огонь оставался в этом звонком, волнистом пространстве — их костер на высоте. Тогда струящийся плащ загорался на небе и медлил на западе, поднявшись к зениту.

То был зодиакальный свет.

На высоте Гуангамарки юго-западный ветер ударил в лицо и разогнал туман. Западный склон открылся сразу — весь в острых зубцах, словно в черной ряби, низвергавшейся в бездну. Широкое и спокойное сверкание заливало глубину и уходило к небу в бесконечном отдалении.

Великий океан, обнимая полмира, уходил к небу.

Домой

5 декабря 1802 года корвет унес путешественников из гавани Кальяо, вблизи Лимы, опять на север. Они поплыли вдоль побережья в Мексику. И повезли с собой множество ящиков, доверху наполненных коллекциями, картами, тетрадами с записями измерений, дневниками.

Со всех пунктов путешествия, где только была возможность, ящики отсылались в Европу. Они шли в Мадрид, в Париж, в Берлин, Джозефу Банксу в Лондон.

Гумбольдт исследовал холодное течение, струившее с юга на север воду оловянного цвета.

Это течение позднее назвали Гумбольдтовым.

Плавание до мексиканской гавани Акапулько продолжалось три с половиной месяца — больше чем на месяц застряли в Гваякиле, надо было искать другой корабль, перуанский корвет дальше не шел.

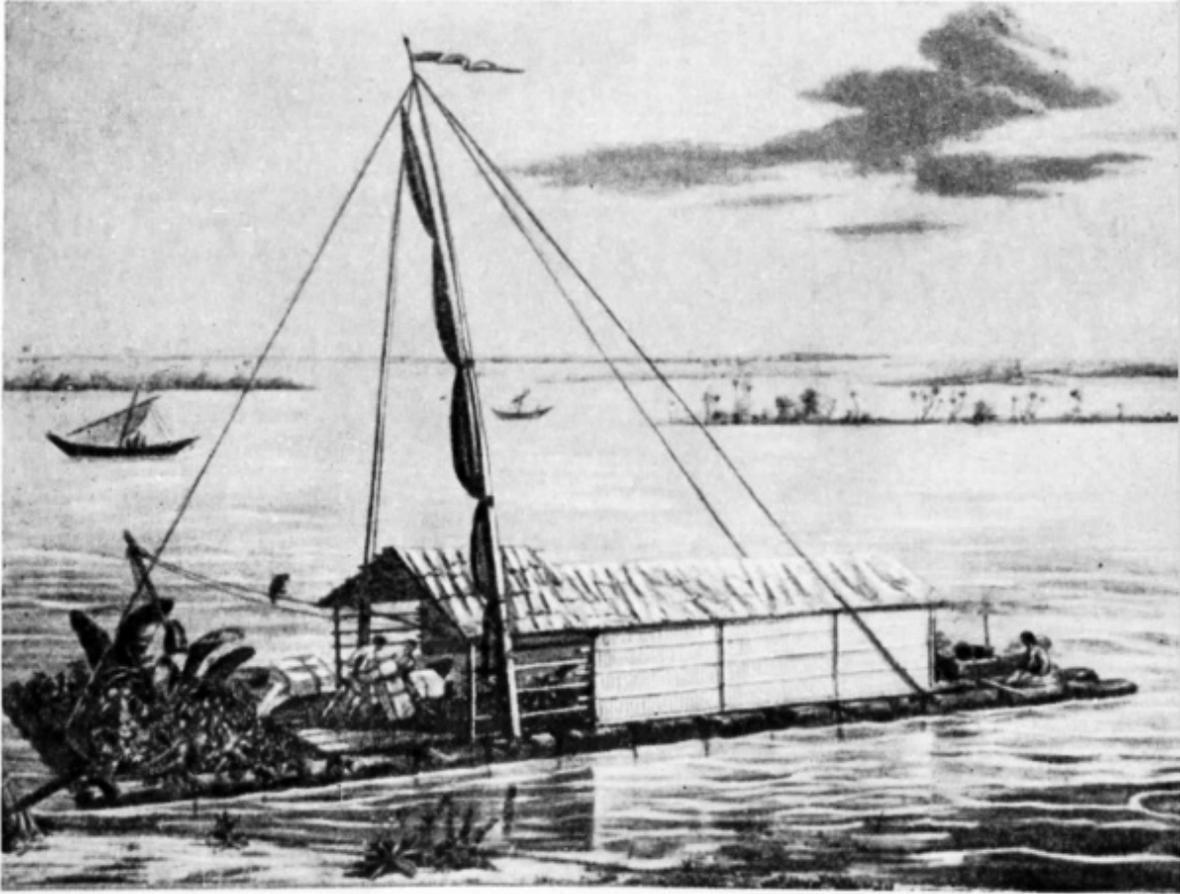
Март был на исходе, когда путешественники высадились в Акапулько. О Новом Свете знали тогда так мало, что лучшие карты ошибались на несколько градусов в положении даже этой крупной гавани, а тем самым и всех других пунктов западного побережья, потому что их отсчитывали от нее.

Дать первую точную карту выпало на долю Гумбольдта.

Он провел год среди сильных и смелых людей, земледельцев и скотоводов, суровых, как исполинские вулканы и плоскогорья их страны, поросшие агавами и кактусами, усеянные развалинами трех культур — майя, толтеков и ацтеков.



Уличная сцена в Лиме. 1800 год.



Так плавали по Ориноко. По рисунку Гумбольдта.



Леопольд Бух.

Директор мексиканской горной школы был учеником Вернера. Долгими вечерами они вспоминали Фрейберг.

Гумбольдт осмотрел серебряные рудники и залежи платины. Разработки велись лениво, половина металла оставалась в породе. Но в горах, даже далеко от рудников, то и дело находили большие самородки. Под

деревнями, жители которых питались ячменными лепешками, лежали сокровища, не имевшие цены.

Гумбольдт не преминул определить высоту вулканов Попокатепетль и Ицкакихуатль, а также и знаменитого памятника старой мексиканской культуры — Холульской пирамиды, сложенной из кирпичей во времена толтеков.

В 1759 году неожиданно, в одну ночь, среди плантаций сахарного тростника возник вулкан. Огненные реки и ядовитый дым опалили далеко вокруг окрестность. Гора вздулась, как пузырь на теле невидимого, подземного огненного мира.

Об этом событии ходили противоречивые слухи. Гумбольдт сам поднялся на этот вулкан. Почти две тысячи дымящихся отверстий окружали кратер. Гумбольдт спустился на его дно, на двести пятьдесят футов ниже края. Там он взял пробы воздуха, удушливого от углекислоты, обжигавшего легкие. И Гумбольдту снова, как тогда в Кито, показалось, что он стоит на шатком гигантском своде, на котором люди разводят свой сахарный тростник и строят города, так легко обращающиеся в пыль.

В Санта-Мария-дель-Туле, в Оахаке, Гумбольдт осмотрел дерево, может быть, самое старое в мире. Это был болотный кипарис, или иначе двурядный таксодий. Его мягкая хвоя сидела двойным рядом на веточках. Окрестное население считало это дерево священным. Мексиканцы в широкополых войлочных шляпах скакали вокруг него на горячих лошадях; языческие приношения увешивали ветви таксодия, растущего в монастырской ограде.

Гумбольдт измерил толщину ствола: его поперечник был тридцать восемь парижских футов (около двенадцати метров). Он стоял здесь еще тогда, когда последние стада мастодонтов топтали американскую землю. Гумбольдт вырезал свое имя на чешуйчатой коре утесоподобного дерева, ровесника горных цепей.

В конце 1935 года таксодий в Оахаке посетил доктор Шренк из Миссурийского ботанического сада. Он увидел полузаросшую надпись: «Александр Гумбольдт 1803». И так же как Гумбольдту, Шренку не позволили сверлить священный ствол, чтобы исследовать годовичные слои. Он только примерно определил его возраст в пять-шесть тысяч лет. Сто тридцать два года, протекшие между посещениями двух ученых, значили не больше мгновения в чудовищно долгой жизни этого организма, такого древнего, как вся человеческая история.

В мае 1804 года Гумбольдт, Бонплан и Карлос Монтуфар, сын богачей Агирре-и-Монтуфар, сопровождавший путешественников из Кито, прибыли в Соединенные Штаты.

То был последний этап путешествия.

Два месяца друзья осматривали страну, прославленную тогда во всем мире как «страна свободы». Они увидели пустынные прерии, быстро разраставшиеся города, людей, разбогатевших на торговле свиным мясом, и голых негров-рабов, которых на плантациях подгоняли бичами, так же как в испанских колониях.

В Вашингтоне президент Джефферсон, откинувшись на спинку жесткого стула, говорил гостям о будущем Америки. Надо сломить владычество Испании и Англии. Вся американская земля — от Аляски до мыса Горн — должна быть разделена между тремя республиками, и каждая из них должна управляться, как Соединенные Штаты.

Старый, шестидесятилетний человек, сидевший на жестком стуле в бедно убранной комнате, казался бесконечно усталым. Так ли уж он был убежден в осуществимости этого проекта с тремя республиками и — еще больше — даже в том, что Соединенные Штаты управляются идеально?

Он был главным автором — почти тридцать лет назад — Акта о независимости. Когда он ездил в Европу, революционная Франция прислушивалась к его голосу, провозглашая Декларацию прав человека и гражданина. Сколько борьбы, зачастую мелочной, оскорбительной, и рубцов на совести — об этом президент не говорил гостям. Здесь, в Америке, его голос не всегда желают слушать, то, за что он боролся, чему отдавал все свои силы, равнодушно отбрасывается...

...В каждой из трех республик будут отважные трапперы-пионеры, будут свиноводы и свиные короли, будет хлопок и сахарный тростник...

«И негры-невольники», — досказал про себя Гумбольдт.

9 июля 1804 года Гумбольдт и Бонплан сели на корабль, и 3 августа корабль бросил якорь на рейде в Бордо. К этому времени «Всеобщие географические эфемериды» объявили, что Гумбольдт убит индейцами, а «Гамбургский корреспондент» — что он умер от желтой лихорадки.

Гумбольдт написал Кунту и Фрейеслебену. Последнего он просил кланяться Вернеру, которого он «все больше уважает с каждым годом и систему которого только подтвердило путешествие в южное полушарие». И это тем удивительнее, что именно из Америки вернулся отнюдь не примерный ученик Вернера, а законченный плутонист, вовсе забывший о своем былом нептунизме. Несомненно, письмо это не образец творчества Гумбольдта-ученого, но пример искусства Гумбольдта-дипломата. Впрочем, он спрашивает о «новых вернеровских идеях». Он не знает еще, что Вернеру больше не суждено иметь каких бы то ни было новых идей...

Гумбольдт разбирает чемоданы

Ему только тридцать пять лет. Он прожил едва треть с небольшим той жизни, которую ему предстояло прожить. Его слава еще возрастет — почти несравненно. Но то, что он станет делать в продолжение десятков лет своей последующей жизни, будет в значительной мере прямой разработкой и развитием добытого в Новом Свете.

Через много лет, извиняясь перед русским министром за свой изменившийся, дурной почерк, он скажет, что рука плохо повинуется ему потому, что ему месяцами приходилось спать на сырых листьях на берегах Ориноко. Стариком он напишет, что никогда не забудет ночного свечения моря, дельфинов, расстилающих огненный след, как кометы, Южного Креста, встающего из воды, «первоначальных» лесов Касикьяре и «Южного моря», Великого океана, в котором он увидел солнечную дорогу с высоты Анд, как некогда Васко Нунец Бальбоа.

Из всех эпитетов, которыми щедро наделяли его академии, он охотнее всего избирал «великий путешественник».

Но экспедиция в Америку осталась единственным настоящим его путешествием, если не считать разездов по Европе и поездки на Урал и Алтай в коляске, в сопровождении казачьего эскорта.

Какую же жатву собрал Александр Гумбольдт за эти пять лет, за этот период высшего подъема, «кульминации» своей жизни?

Его путешествие называли «вторым открытием Америки». Пусть это преувеличение, но ведь именно

беспримерная громадность результатов экспедиции Гумбольдта дала для этого повод.

Нелегко исчислить эту «жатву».

Целый атлас карт обширных пространств, которые были до того сплошными белыми пятнами.

Открытие в девственной глубине материка поразительнейшего географического факта — существования Касикьяре.

Сотни точных астрономических определений различных пунктов (до того лишь один пункт в Южной Америке был определен — Кито; на всех картах неверно помещены были даже Акапулько, Веракрус, Мехико и Лима!).

Семьсот гипсометрических измерений, измерений высот. Тысяча пятьсот промеров в Андах — с неуклонной методичностью Гумбольдт создавал метод профилей, вычерчивая чертежи «разрезов» великой горной цепи, распутывая узлы ее хребтов; этот метод войдет затем в обиход каждого геолога, каждого геодезиста.

В течение всей экспедиции у Гумбольдта был только один помощник и никакой материальной поддержки ниоткуда. Но трудно указать хоть сколько-нибудь значительный факт географии Нового Света, который не попал бы в поле зрения Гумбольдта.

Он смело и точно набросал первую геотектоническую карту всей Южной Америки, картину строения целого материка.

Из его сообщений в Европе впервые составили ясное представление о естественных богатствах Америки, об истинных запасах полезных ископаемых в Перу и Мексике.

Он изучал языки индейских племен и экономику испанских колоний (так родились «Политические опыты» о Кубе и Мексике).

Наблюдения Гумбольдта дали материал для целых глав метеорологии.

Он соединил на карте местности с одинаковой годовой, одинаковой летней и одинаковой зимней температурами, впервые проведя ныне всем знакомые линии изотерм, изотер и изохимен.

На Тенерифе он увидел поясное распределение горной растительности — в Америке он уже ищет точного выражения для законов этих живых поясов. И показывает, что высота снежной линии на горах связана не только с климатом вообще, но и с конкретными особенностями, конкретной географической характеристикой местности.

Поистине гигантской оказалась и биологическая «жатва» Гумбольдта. Специально зоологических целей он не преследовал. Но классическими стали его исследования необычайных приспособлений у американских животных — электрического органа угря-гимнота, горла обезьян-ревунов, самых «громогласных» среди всех живых существ, глотки кайманов, кусками пожирающих свою добычу.

А гербарии Гумбольдта содержали шесть тысяч видов растений, из них больше трех тысяч видов новых, — вклад в науку небывалый. Стоит вспомнить, что величайший систематик XVIII века Карл Линней знал вообще всего восемь тысяч высших растений!

Тут не просто — знали мало видов, узнали больше. Тут резкий сдвиг в понимании самого смысла, «объема», как говорят логики, понятия «жизни», значения, места живого мира на земле, неисчерпаемости его форм. «Какой клад растений нашел я в удивительной, покрытой непроходимыми лесами, населенной столькими новыми видами обезьян области между Ориноко и Амазонкой, в которой я прошел 1 400 географических миль. Я собрал едва десятую часть того, что мы видели. Я теперь вполне убежден в том, чему еще не верил в Англии, хотя уже и предчувствовал,

просматривая гербарии Руица, Павона, Несса и Генкена...»

Он был не только сам убежден, но и неопровержимо доказал всем чрезвычайную узость тех «систем» растений, какие были тогда в ходу, — и линнеевской «искусственной» и «естественной» системы Жюссье. «Какие удивительные плоды!.. Какое зрелище представляет мир пальм в лесах Риу-Негру!»

Нет, жизнь не случайное явление, накипь или плесень на земле. Жизнь — колоссального значения фактор, деятель на земле; вся поверхность планеты проникнута жизнью.

Он говорит о жизни на высочайших вершинах, о населении ледяных пространств, горячих источников, обитателях вечной темноты и подпочвенных пластов, о мириадах спор и цист, носящихся в воздухе, — о всеоживленности земли. Он дает сводку явлений скрытой жизни, анабиоза.

Кажется, у Гумбольдта все готово для создания учения о биосфере, о глубокой, органической взаимосвязи между жизнью и планетой, где она возникла и развилась, — того учения, которое, как мы знаем, было разработано век спустя плеядой замечательных русских ученых.

Он ставит обязательным условием изучение жизни именно в ее связи, в ее отношениях со средой и дает блестящие образцы этого.

Он уже знает о закономерной смене растительных формаций при заселении пустых пространств — от пионеров-лишайников до леса. Объяснения некоторых своих смелых сближений он ждет от будущего. Сходна флора мхов глубоких шахт и обледенелых утесов на горах — «так сближаются противоположные пределы растительности»; «физиология этого нам еще совершенно незнакома».

В своих маршрутных картах он тщательно вычерчивает пограничную линию степи и леса (сведения о котором, о первобытном лесе со всем живым населением его, он так необычайно обогатил). Он вычерчивает эту пограничную линию так, как вычерчивают берега морей с их заливами и мысами. Он убежден: несомненно, будут открыты законы, объясняющие изгибы этой линии; он изучает взаимное влияние степи и леса.

«Одна из задач всеобщего землеведения состоит в сравнении природных свойств отдаленных областей и в сопоставлении результатов...» Потом, в Европе, он займется тщательным сравнительным изучением американских льяносов, степей Азии и пустынь Африки. Он настаивает: всякий ландшафт надо сравнить со всеми родственными и изучить во всех его видоизменениях на земном шаре. Под его руками рождается могучий эволюционно-географический метод. Науку же о ландшафтах, важное звено географического видения и исследования земли, надо считать созданной им.

Конечно, он объехал сравнительно небольшую часть Америки. Но то, что он узнал об этой части, дало очень много и для познания материка в его целостности. Это случилось потому, что он впервые в такой полной мере показал, что такое настоящее географическое исследование. И еще потому, что общая «картина мира», или, как он говорил, «физика мира», или, что то же, поиски «всеобщих связей», всегда для него оказывалась центром и сутью научной работы. Точка зрения универсального ученого неизменно руководила им. Дисциплин много; но наука — так хочет оказать, так подтверждает свою старую мысль всей своей деятельностью Гумбольдт — едина; ведь один объект у нее — мир!

«Заниматься всем? Это значит не заниматься ничем!» — морщилась, от времен Гумбольдта и до наших

дней, та близорукая мелюзга, которой суждено было скоро переполнить буржуазные университеты и институты. «Наука — это мы», — вещала мелюзга, на свой лад приспособив похвальбу Людовика XIV. Великая наука должна перестать существовать, разъятая, растерзанная на тысячу частей; ученому нет дела ни до общественной жизни, ни до природы, ни до красоты, ни до открытий, сделанных на соседней кафедре. Что же? «Специалисты, подобные флюсу» (по словам Козьмы Пруткова), уткнутся каждый в свою лабораторную посудинку...

Гумбольдт же привез решения и попытки решений таких общих задач, в которых почти стирались границы отдельных дисциплин, — например, задачи о взаимном влиянии океанов и материков (в распределении осадков, ветров, течений, температур и т. д.), задачи о большей холодности и влажности климата Нового Света по сравнению со Старым (и крайне любопытен Гумбольдтов анализ причин этого).

Да и задачи о связи земли и неба...

«Картины природы»

Его встретили как триумфатора.

«Вряд ли когда-либо, — пишет Каролина Гумбольдт, жена Вильгельма (она была в Париже), — появление частного лица возбуждало такое внимание и такой общий интерес».

Он написал королю, что прошел девять тысяч миль за пять лет и привез много ценного для берлинских музеев. Но он не торопится в Пруссию.

В салонах нашли, что он возмужал, стал шире в плечах, остроумнее, чем когда-либо, и ему очень идет индейский загар.

Он же, не оставшись нечувствительным к парижскому триумфу, но почти не разрешив себе отдыха, снова берется за дело. Разборку коллекций прерывает, чтобы исследовать воздух вместе с знаменитым физиком Гей-Люссаком, и читает, читает запоем. «Я так отстал за пять лет!»

Друзья и поклонники вводят его в Тюильри. Но властелин Франции удостоил его лишь нескольких отрывистых слов, проходя мимо:

— Вы занимаетесь ботаникой? Моя жена тоже! — только и сказал Наполеон своим зычным голосом.

Гумбольдт хочет, чтобы лучшие ученые приняли участие в описании привезенных им сокровищ. Многотомный труд должен появиться сразу на шести языках. Издание будет роскошным. Роскошные издания, стоящие сотни и тысячи франков, вошли тогда в моду.

«Описание Египта», изданное на средства французского правительства, стоило около шести тысяч франков за экземпляр.

Бонплану, естественно, пришлось заняться ботанической частью. Но в Париже Гумбольдт не

узнавал своего спутника и товарища. Он был бесподобен в утлом каноэ, на лошади и на муле, он мог часами балансировать на качающихся древесных стволах, сносимых Ориноко, и собирать с них лишай, цветы и насекомых; но, увы, за препаровальным столом в столице молодому человеку не сиделось, он копался, небрежничал, делал ошибки. Ему казалось, вероятно, что пять лет тяжкого труда дают ему право немного развеяться и забыть о травах и козявках. К тому же, по протекции Корвизара, своего бывшего учителя, ставшего лейб-медиком, он получил прекрасное место в садах Мальмезона, близ императрицы Жозефины, в самом деле любившей ботанику.

Гумбольдт работал за двоих. Только в 1805 году он сумел выбраться из Парижа к брату, жившему в Италии. Он привез ему свои материалы по языкам американских племен. Вильгельм уже приобрел мировое имя как лингвист. В одном из лучших своих трудов о яванском языке кави (как и вообще в своих лингвистических выводах) — он широко использовал материалы, собранные Александром.

Летом с Гей-Люссаком и Леопольдом Бухом Александр поднялся на Везувий. Он брал пробы воздуха, делал электрические и магнитные наблюдения. Гора дымилась. 12 августа 1805 года на их глазах произошло извержение.

Наконец после восьмилетнего отсутствия Гумбольдт снова увидел Берлин. Это было время, когда экзальтированная королева Луиза провожала прусские армии декламациями о традициях Фридриха Великого, — и прусские армии уходили под Иену и Ауэрштедт, навстречу двойному разгрому. Кавалерия Наполеона бесцеремонно топтала улицы прусской столицы.

Что думал обо всем этом Гумбольдт? В то время он писал «Картины природы». Однажды он несколько ночей

не ложился спать. Над «Картинами природы» он работал со страстью. Он писал, он связывал вместе свои путевые записи, сделанные «при виде великих картин природы на океане, в лесах, покрывающих берега Ориноко, в степях Венесуэлы, в пустынных горах перуанских и мексиканских». «Мне оставалось только собрать их в одно целое».

Под пером его рождалась необычайная книга — книга географической лирики.

И вот эту, как будто идиллическую, книгу он снабдил неожиданным предисловием: «Мрачным душам по преимуществу предназначены эти страницы. Кто желает укрыться от бури жизни, тот охотно последует за мной в чащу лесов, через необозримые степи и на высокие вершины цепи Андов. К нему относятся следующие стихи...» Правда, он немедленно оговаривается: «... заключающие в себе всеобщее мнение». Но такая оговорка стоит нового признания — так странно, так неожиданно, так многозначительно избранное им (шиллеровское) четверостишие. Вот оно в подстрочном, нерифмованном переводе:

На горах — свобода!
Дыхание могил
Не подымается сюда в чистый воздух;
Мир совершенен везде,
Куда не приходит человек со своей мукой.

Он писал в свои бессонные ночи, его спокойно-прозрачные на людях глаза вспыхивали, и, может быть, строки делались кривыми и туманными сквозь слезы, как тогда, в Штебене.

...На горах — свобода!..

Как бы плотно закрывая за собой дверь, он уходил в это убежище своего подспудного мира, который он так

тщательно скрывал и оберегал.

Один из очерков, написанных в это время, он посвятил Гёте. Он сделал это в знак общности их мировосприятия — пусть никогда автор «Фауста» не пересекал экватора, — в знак одинакового понимания природы и, возможно, еще потому, что ему захотелось назвать имя величайшего немца, когда бонапартовские гвардейские егеря в зеленых мундирах чувствовали себя хозяевами на Унтер-ден-Линден.

Шиллер умер. Но и с Гёте уже не было до конца одинакового понимания природы. Гёте не принял Гумбольдта-плутониста — началась и два десятилетия длилась их размолвка. И Гёте был поэт. Даже когда он изображал природу, он писал о человеке. Искусство не знает безлюдного мира. Гумбольдт рисовал картины безлюдной природы — единственный зритель созерцал сверкающую пустыню, холодноватую и под тропиками: он сам. Создав шедевры географического видения мира, поэтом он все же не стал. Ближе подошел к поэзии; осталась решающая грань — он ее не переступил.

В Берлине Гумбольдт был окружен почестями. Ему дали придворное звание камергера. Он читал свои сообщения в Академии наук. Потом он их обрабатывал и также включал в «Картины природы».

Но все, чему он был свидетель в столице королевства Пруссии, удручало его. Этим воздухом ему стало еще тяжелее дышать, чем восемь лет назад. «Я живу чужой и изолированный в ставшей мне чуждой стране...»

...На горах — свобода!..

Одна из лекций в академии послужила основой для очерка в «Картинах», названного «Идеи к физиономике растений». Это замечательная попытка приложения общих взглядов Гумбольдта, его видения мира как целого, к исследованию конкретных научных проблем.

Тропический лес обрушивается на ботаника водоворотом форм и образов. Как разобраться в нем? Определить по Линнею все деревья, все кусты, все лианы, все эпифиты, сделавшие своим жилищем кору и ветви, всех чужеядцев-паразитов, все цветы, все плоды? Даже не по Линнею: никто не знал лучше Гумбольдта, какой немощной оказывается «система растений» упрямого и самоуверенного шведского классификатора рядом с действительным изобилием творящей природы. Но пусть будет в наших руках самая полная, самая совершенная «система». Что даст она? Каталог. Самый полный каталог. И ровно ничем не поможет разобраться в водовороте форм, обликов растений, ничего не расскажет, каковы пределы многообразия их. Или эта многоликость, как и кажется наблюдателю, смятенному, потерянному в зеленом океане вокруг него, беспредельна? Можно ли все-таки свести ее к каким-то типам, исчислить их, а потом найти законы их появления, их распределения среди разных групп растений?

Очевидно, это вовсе не те вопросы, которыми заняты каталоги-определители и системы классификации. Это другие вопросы. Но они исключительно важны.

Это вопросы о закономерностях, определяющих лицо растительного мира. Решение их укажет и реальные пути развития растений.

Итак, перед нами должны быть наиболее общие облики растений, обобщенные внешние типы и формы их, классификация образов, «составные части» ботанических ландшафтов.

Каковы же они?

В «Идеях о географии растений» (1807, именно этот очерк посвящен Гёте) Гумбольдт указывает их более четко, чем в очерке о «физиономике» (напечатанном годом раньше).

Это формы: 1) бананов, 2) пальм, 3) похожих на них древовидных папоротников, 4) алоэ, 5) ароидных, 6) иглолистных, 7) орхидей, 8) мимозовых, 9) мальвовых (баобабообразные деревья с толстыми стволами), 10) виноградной лозы, 11) лилий, 12) кактусов, 13) казуарин (куда входят и хвощи), 14) злаков и осок, 15) мхов, 16) листовидных лишайников, 17) шляпочных грибов.

Итак, еще раз: это отнюдь не систематические группы — это именно облики. Так, к форме алоэобразных относятся агавы из семейства нарциссовых, древовидные молочайные, юкка и драконово дерево (из лилейных), ананас (семейство бромелиевых), пандановые, некоторые зонтичные и пальмы. Иголистные — это, конечно, хвойные, но и некоторые верески и австралийские мимозы.

То, о чем говорил Гумбольдт, можно назвать ботанической «стереометрией» рядом с плоской «планиметрией» линнеевой системы.

Растительные «формы» — как «дороги» развития растительного мира. Свой общий облик у пустынной флоры, у альпийской, у растительности влажных пойм, солончаков, — не кто иной, как Гумбольдт, с силой подчеркнул эту идею отпечатка, который накладывает среда на живой мир.

Но разве не только шаг отсюда до мысли о превращении организмов под влиянием и в соответствии с требованиями среды? В эпоху, когда Дарвин, по его словам, «ощупывал мнения многих натуралистов и не встретил ни одного, который сомневался бы в постоянстве видов» (да так и обстояло дело, за очень редкими исключениями, в европейской науке), Гумбольдт был эволюционистом. Этот факт поражает. Но он несомненен для всякого, кто читал Гумбольдта. Самое поразительное, что он не приводил в защиту своих эволюционных взглядов сложной аргументации, не излагал их с пафосом потрясателя основ или хотя бы

просто полемически, — нет, он касался их мимоходом, чуть ли не в придаточных предложениях, в каком-нибудь из множества примечаний, которыми он так любил оснащать свои книги.

Может быть, тут сыграла роль обычная его осторожность. Но может быть и так, что Гумбольдту, вовсе свободному от каких бы то ни было влияний религиозно-церковной идеологии (более свободному, чем был даже Дарвин!), мысль об изменениях живого мира в соответствии с изменениями среды казалась чем-то само собой очевидным. Недаром в числе его коротких знакомых были Ламарк и Жоффруа Сент-Илер, а второй родиной стал Париж, где идея биологической эволюции была завещана материалистами-просветителями XVIII столетия.

Вот мы прочтем у него: «По ограниченности нашего знания о становлении (Werden) вещей, мы называем в переносном смысле, скрывающем под своими образами эту ограниченность, новыми творениями — исторические события, изменявшие организмы и обитаемость первобытных вод, а также поднявшейся суши». Спокойная фраза, характерная для Гумбольдта, звучащая так, будто самого вопроса, возможна или нет эволюция, для него не существовало и — эволюционная разгадка извечной тайны («тайны из тайн», как выразился Дарвин) происхождения и развития жизни казалась ему единственно мыслимой и вполне очевидной.

И вот как, например, он высказывается о последних причинах органических явлений:

«Мифы о невесомых веществах и жизненных силах затуманили облик природы. И только подобному мифотворчеству должно приписать то, что тяжелое бремя наших эмпирических познаний-, увеличивающихся с каждым днем, превратилось в массу бездейственную... Физическое описание мира должно напоминать, что

вещества, образующие тело животных и растений, находятся также и в неорганической земной коре. Оно должно показать, что в животных и растениях, как и в земной коре, господствуют те же силы; эти силы, в органических тканях, соединяют и разлагают вещества, формируют и разрушают. Только эти силы действуют здесь в условиях, мало еще исследованных». Ибо «подвести удовлетворительным образом под физические и химические законы явления в организме почти так же трудно, как предсказать метеорологические изменения, совершающиеся в воздушном океане. Эта трудность происходит от сложности явлений, многочисленности сил, одновременно действующих, и от условий их действия».

Он уже знал и отметил факт некоего сходства между живущими и вымершими животными в Южной Америке и в Австралии, факт, который послужил для Дарвина одним из основных доказательств эволюционной теории.

Он знал также, что «настоящее и прошедшее проникают друг друга». Оставалось досказать, что сложность живой природы есть результат ее развития, перенеся на живые организмы слова самого Гумбольдта (о скалах), что «их форма есть их история».

Он был буржуазным ученым. Но он был великим ученым той молодой поры буржуазной науки, когда она видела перед собой широкие перспективы и решала, по-своему смело, свои задачи. Но и в то время и позднее наука капитализма не могла ни оценить в полной мере, ни тем более развить дальше, многие глубокие идеи Гумбольдта (его ботаническую «физиономику», его методы географического изучения целостного образа страны, общие идеи его универсальной науки «всеобщих связей»).

Явятся потом замечательные геологи, фаунисты, флористы; явится блестящая плеяда физиков и химиков второй половины XIX века. Ими будут открыты законы,

каких не мог бы открыть Гумбольдт; но точное и более дробное знание, которое они создали, уже теряет понимание того знания, какое создавал Гумбольдт.

У Гумбольдта есть страницы (каких мы, конечно, и должны ожидать от него), где он предпринимает расчет общего числа видов растений, едва десятую часть которых знала тогдашняя ботаника. Он вычисляет их с помощью интереснейших соображений, почерпнутых из географии растений и связанных, как он сам пишет, с «метеорологией и физикой земли», то есть продиктованных именно его концепцией «всеобщих связей мира». Но они доведены тут до подлинной конкретности научных законов, облеченных почти в математическую форму (он сам считал это «ботанической арифметикой»).

Страницы эти фактически остались не прочитанными теми, кого наш Тимирязев гневно называл «нотами» и «логами».

Биологические идеи Гумбольдта, ставящие организмы с реальными законами их развития в тесную связь с землей, со средой, где они живут и развиваются, нашли отклик в наше время, были развиты и несравненно углублены наукой, которая указала человеку путь к власти над живой природой. Ученые, исследующие сущность живого, взвешивающие место органического мира, его «удельный вес» и роль в общей цепи явлений на земном шаре, смогли по достоинству взвесить и мысли Гумбольдта о всеоживленности земной поверхности, о связях внутри живого мира, о сообществах и постепенной смене, развитии этих живых сообществ.

И теперь мы можем по-настоящему оценить все значение Гумбольдтова способа видеть и познавать мир в его величественном и прекрасном единстве — не упуская целого ради частных, не пренебрегая частностями из-за целого.

Страницы, написанные сто лет и полтора века назад, говорят с нами почти на нашем языке.

Великое имя Гумбольдта дорого науке нового общества, строящего коммунизм, той науке, о самой возможности которой не догадывался Гумбольдт. Только она не противопоставляет природу и человека, ей незачем искать отшельнической и мнимой «свободы» для «омраченных душ» «на горах», — она работает для всенародного счастья.

«Озаряющий весь мир сверкающими лучами»

В июле 1808 года принц Вильгельм прусский, младший брат короля, отправился в Париж вымаливать там снисхождения для Пруссии, поставленной на колени. Принц предложил Гумбольдту ехать с ним. И Гумбольдт с жаром ухватился за приглашение принца: в Пруссии он так и не «прижился».

Короли и герцоги толкались в передних Тюильри, Сен-Клу и Фонтенбло. Они робко ожидали аудиенции хотя бы с каким-нибудь министром императора.

Гумбольдт не вернулся с принцем — напрасно письмо за письмом слал из Берлина брат. «Даровитые люди, — раздражительно отвечал Гумбольдт зовущим его назад в Пруссию, — быстро находят оценку в столице мира, тогда как в туманной атмосфере Берлина, где все и каждый выкроены по шаблону, об этом не может быть и речи».

Его прельщал не блеск и барабанный бой наполеоновской столицы, а французская наука.

Жил вместе с Гей-Люссаком. Вставал в семь, отправлялся завтракать к Араго, затем — в лабораторию, в Политехническую школу. Обед в семь часов вечера отмечал конец первой части рабочего дня. Вечер был отведен салонам и друзьям. Около полуночи он возвращался домой и снова работал до двух-трех часов ночи. «Сон становится устарелым предрассудком», — шутил он.

Скоро он стал как бы общепризнанным центром научной жизни Парижа.

Никому не ведомый молодой человек прочел Гумбольдту свою научную работу. Гумбольдт поддержал его. И, как вспоминает химик Либих (тоже многим

обязанный Гумбольдту), перед молодым человеком открылись «все двери, все лаборатории, все институты».

Установилось такое обыкновение, что талантливая молодежь — ученые, путешественники, литераторы — стремилась прежде всего попасть к Гумбольдту. Большинство уходило от него с рекомендательными письмами или даже с деньгами.

«Кто из приехавших в Париж, — пишет один мемуарист, Голтей, — имея черный фрак, белый галстук и пару перчаток, — кто не являлся к Гумбольдту? Но — и это может показаться невероятным, хотя это истина, — кто из оставивших свою карточку у этого благороднейшего, либеральнейшего, благодушнейшего из всех великих людей не получил дружеского ответного визита? Кто не пользовался предупредительной добротой, советом, помощью этого неутомимого благодетеля?»

В свое время, едва высадившись в Бордо, Гумбольдт объявил, что ближайшая цель его — путешествие в Азию.

Этой мысли он не оставлял.

В просторном и очень характерном письме, написанном 7 января 1812 года в обсерватории на улице Сен-Жак и посланном в Петербург, он целью путешествия называет Гималаи. «Я желал бы видеть и Тибет... Вероятно, я отправлюсь вокруг мыса Доброй Надежды...»

«Я чрезвычайно рад участию, которое так давно питают ко мне в Петербурге, — пишет он дальше. — Имена господ Сперанского и Уварова небезызвестны тем, кто следит за успехами науки на севере. Министр торговли, граф Румянцев, во время своего пребывания в Париже сделал мне честь обратиться ко мне с предложениями, на которые я ответил отнюдь не уклончиво... Правда, мне трудно оставить надежду увидеть берега Ганга с бананами и пальмами...

Мне теперь 42 года, и я желал бы предпринять экспедицию, которая длилась бы 7–8 лет. Но для того, чтобы пожертвовать азиатскими странами равноденствия, необходимо, чтобы план, который мне будет предначертан, был бы просторен и широк. Кавказ привлекает меня менее, чем Байкальское озеро и вулканы Камчатки. Можно ли проникнуть в Самарканд, Кабул и Кашмир? Есть ли надежда измерить Мустаг и плато Шамо? Есть ли в Русской империи человек, который бы посетил Лхассу, миновав обыкновенную дорогу через Тегеран, Казвин и Герат или Калькутту?..

Геогнозия, география растений, метеорология, наблюдения над маятником, теория магнетизма сделают значительный шаг вперед при этой экспедиции, вследствие обширности пространства исследования. Должны быть изучены народы, языки (составляющие самый долговечный памятник прежней цивилизации), явится надежда открыть промышленные пути на юг.

Я бы желал начать с того, чтобы пересечь всю Азию между 58–60 градусами широты, через Екатеринбург, Тобольск, Енисейск и Якутск до вулканов Камчатки и берегов океана.

...Я не понимаю ни слова по-русски: но я сделаюсь русским, как стал испанцем. Ибо все, что я предпринимаю, я делаю с увлечением.

...Я предпринял бы путешествие из Тобольска к Коморинскому мысу, если бы даже знал, что из девяти человек доедет только один».

Письмо он заканчивает вопросами:

«Не можете ли вы дать мне точные сведения о том, под какой широтой лежит самое северное и обитаемое зимой селение в Сибири? Под селением я разумею всякое соединение 2–3 домов. Было бы очень интересно узнать также часовые колебания магнитной стрелки и силу магнетизма во время северного сияния среди полярной ночи».

Какой обширный план — многолетняя экспедиция с участием множества ученых («Я бы желал, чтобы большая часть сопровождающих меня ученых были русские: они смелее и терпеливее переносят тяготы путешествия и не будут так сильно желать скорого возвращения...») и особые, точнейшие приборы, которые надо изготавливать «более года» по специальному заказу в Париже, в Лондоне и в Мюнхене! Куда обширнее и куда размахистее, чем все американское путешествие!..

Адресатом письма был Ренненкампф, немец на русской службе, посредник между Гумбольдтом и петербургским правительством.

Но шел 1812 год. Конечно, это достаточное объяснение, почему задуманная экспедиция так и осталась в проекте.

Однако гремели войны в 1798 году, и «судьба» разрушала проект за проектом, и гибли нанятые барки, — а Гумбольдт все-таки уехал.

А теперь он терпелив, он ждет, ссылается на занятость обработкой американских коллекций и никого не торопит...

В том же 1812 году, когда наполеоновская армия уже готовилась двинуться по немецким дорогам к Висле и Неману, Гумбольдт узнает, что страшное землетрясение разрушило Каракас. Огромные массы скал низвергнуты с Силлы, на которую он некогда поднимался, «Так, значит, наших друзей нет больше в живых, дом, в котором мы жили, — только груда мусора, города, который я описал, не существует!»

Вот оно, новое грозное проявление подземного мира!

С тех пор как Гумбольдт сам испытал землетрясение в Кумане, с тех пор как он видел Анды и стоял в Кито на «крышке» (как ему представилось) чудовищного вулкана с тремя отдушинами — Котопахи, Пичинчей и Тунгурагуа, — с тех самых пор подземный мир завладевает все большим местом в его «картине

природы». Строгий, требовательный, точный наблюдатель в своей географии, в метеорологии, в своей ботанике, в изучении ландшафтов на суше и морских течений, один из наиболее трезвых мыслителей в биологии, человек, поставивший условием всякого обобщения в науке о земле безошибочную математику тысяч промеров и определений, — Гумбольдт снисходительнее во всем, что относится — к извержениям, потокам лавы, судорогам земной коры. Он верит в кратеры поднятия. Горные цепи вздуваются, как пузыри, над кипящим подземным огненным морем. Землетрясения — одной природы с вулканическими явлениями.

В глазах ученого мира Гумбольдт сейчас был, вместе со своим товарищем студенческих лет Леопольдом Бухом, главой «вулканистов».

Человек, внешне сдержанный во всем, постоянно как бы закованный в холодноватую броню рационализма и «светскости», с любезной, как многие полагали, дипломатической улыбкой, он тут словно выпускает на простор свое воображение, ослабляет узду жесткой дисциплины, всегда подчиняющей его.

Он сопоставляет, он нетерпеливо комбинирует известия.

За год с небольшим до гибели Каракаса, 30 января 1811 года, внезапно появился остров Сабрина в группе Азорских. Затем сотрясение почвы прокатилось по Антильским островам и дошло даже до равнин Огайо и Миссисипи. А через месяц вулкан острова Св. Винцента, давно заглохший, вдруг изверг потоки лавы. В это время туземцы Южной Америки — от побережья Гвианы до лесов Апуре и Ориноко — слышали удар более сильный, чем пушечный выстрел.

Подземная сила... Она была тут — и в то же мгновение за сотни миль. Ее не удерживал океан. Что знают обо всем этом толпы близоруких учеников

Вернера? Они судят по своему, европейскому Везувию. Холмик у Неаполитанского залива служит прообразом чудовищных вулканов Мексики и Южноамериканских Анд! «Рассуждения ученых заставляют вспомнить о Вергилиевом пастухе, который свою лачугу считал моделью Рима», — язвительно записывает Гумбольдт.

Они не знают, как в немногих тысячах метров под Парижем, под Берлином, под Европой клоочет сила, которая связывает весь земной шар единым огненным узлом. Только тонкая внешняя оболочка скрывает ее. Но некогда она бушевала и на поверхности. Горы лавы вспухали, подернутые корочкой окалины. Миллионы вулканических жерл просверливали шаткую сушу. Тогда рождались материки и снега не было на высочайших горах. «Какое сильное влияние имела бы и ныне на климат Германии расселина, разверстая на 1 000 туазов глубины на всем протяжении от Адриатического до Северного моря!»

Оболочка, кажущаяся нерушимой, потому что мы наблюдаем за ней лишь какие-нибудь секунды в пересчете на космическое время, эта оболочка трепещет и морщится, и через нее воздушный и огненный океаны подают друг другу руки. Толпы растений, стаи животных, племена людей движутся от моря к морю, огибая горы, поднимаясь по рекам; горячие ветры из пылающего котла Сахары кочуют к ледяным пустыням Арктики. Все части земли связаны друг с другом.

Странная, причудливая картина. — вновь и вновь она возникает перед умственным взором Гумбольдта.

...А там, за мертвым поясом азиатских пустынь, более непроходимых, чем бразильские леса и воды Тихого океана, там, откуда явились гунны, авары, хозары и полчища Чингиса, вздымаются хребты, горные узлы, целые горные страны, выше которых нет на земле, поднятые, выпяченные к небу той же чудовищной силой... Азия! Нет, ему не миновать ее...

Но в огненном мифе о земле, который властно захватил Гумбольдта, вымысел все плотнее, все неотделимое сливается с истиной.

А время идет.

Сколько усилий стоит Гумбольдту выпуск его исполинского отчета об американском путешествии! Сначала издатели предлагают некоторый гонорар. Но он не может составить даже определенного плана издания. Тома разрастаются под рукой. Каждая мелочь кажется ему важной.

Он бесконечно исправляет чуть не каждую страницу. Заставляет разобрать уже печатавшийся четвертый том «Дневника путешествия». Издатель взыскивает с него девять тысяч пятьсот франков неустойки. А четвертый том дневника так и не появился.

Араго, которому он посвятил том по истории географии Нового Света, заметил ему: «Ты пишешь, не заботясь о конце. Это совсем не книга — это портрет без рамы». И Гумбольдт сам признал, что это «очень скучный, но очень ученый труд».

От одновременного издания на шести европейских языках сразу же пришлось отказаться (только немногие тома вышли, в сокращении и плохих переводах, по-немецки, по-английски и по-испански).

Все издание даже не было закончено. Вышло в конце концов тридцать томов: двадцать томов in folio, десять — in quarto, на французском языке; некоторые тома дублированы по-латыни.

В трех томах — дневник путешествия (незавершенный). Пятнадцать томов — ботанические итоги, два — зоологические, еще два тома — данные измерений. Два тома — «Виды Кордильер и памятники туземных народов», том — географический и физический атлас, том — история географии Нового Света, еще том — опыт географии растений, два тома — «Политический очерк королевства Новой Испании».

Последний том — недомерок: одни карты. Вышел он через много лет — в 1834 году. Общественный интерес к этому непомерно затянувшемуся изданию постепенно ослабевал. Не только широкая публика, но и специалисты в 1834 году не считали, конечно, путешествие, совершенное тридцать лет назад, самой свежей новостью.

Да тут еще нелепая, несообразная, все рекорды бьющая цена. Экземпляр стоил целое состояние: 2 553 талера, или 9 574 франка, — намного дороже даже «Описания Египта», изданного на средства французского правительства.

«Увы! увы! — жалуется Гумбольдт в письме к геологу Берггаузу. — Мои книги не приносят мне выгоды, на которую я рассчитывал... Кроме экземпляра, который я оставил у себя, в Берлине есть еще только два. Один — полный, в королевской библиотеке, другой — в домашней библиотеке короля, но неполный; и для короля сочинение оказалось слишком дорогим!»

И при всем том тридцатитомное «Путешествие» — это единственный в своем роде памятник работы географа. Исследователь и в наше время открывает его как сокровищницу подавляющей массы ценнейшего, часто неповторимого материала, как энциклопедию Америки, какой она была под испанским владычеством полтора столетия тому назад, как свидетельство натуралиста с самым зорким взором и смелой, всеобъемлющей мыслью о том, что он видел. Гумбольдту удалось действительно привлечь крупнейших ученых Франции и частично Германии к работе над томами (назовем хотя бы Кювье, Гей-Люссака, известного ботаника Кунта, племянника тегельского воспитателя), создать своеобразный научный институт: тем ценнее результаты работы.

Но когда вышел последний том, от состояния Гумбольдта не осталось ничего.

Впрочем, это случится еще через два десятилетия. Пока же... вот в 1816 году Гумбольдту пришлось навсегда расстаться со своим спутником по американскому путешествию.

Эме Бонплан сделался доверенным лицом императрицы Жозефины. Потом говорили, что это именно он советовал поверженному императору перебраться в Мексику, чтобы из этого «центрального пункта земли» выждать развития событий в обоих полушариях. После реставрации Бурбонов Бонплан счел, что ему нечего делать в Европе, сел на корабль и уехал в Буэнос-Айрес.

Наполеоновское вторжение в Испанию окончательно расшатало цепи, связывавшие пиренейскую монархию с ее колониями. В Мексике и во всей Южной Америке вспыхнули победоносные восстания.

Независимые республики возникли там, где Бонплан и Гумбольдт странствовали с письмом дона Уркихо.

Бонплана торжественно встретили в Буэнос-Айресе и предложили кафедру естественной истории.

Долгое время от него не было вестей. Затем дошли сведения, что кафедру, обещавшую больше почета, чем средств к существованию, он оставил, перебрался в глубь страны, в Санта-Анну, где, окруженный индейцами, завел плантацию мате — парагвайского чая. Но Парагвай считал культуру мате своей монополией. Молодая эта республика в то время жестоко боролась за независимость; девиз ее был: «Свобода или смерть». Враги окружали ее. Плантаторы-рабовладельцы, католические князья церкви, эмиссары колониальных держав засылали в страну агентов, вдохновляли заговоры. Страна закрыла свои границы. Глава Парагвая полуиндеец доктор Франсиа подозрительно следил за ботаническими экскурсиями Бонплана и за опытами его с мате в Санта-Анне.

И вот в 1821 году по приказу Франсиа Бонплан был схвачен, как утверждали — на бразильской территории и отправлен в Парагвай, в местечко Санта-Мария.

О Бонплане хлопотали французское и английское правительства; Гумбольдт переслал доктору Франсиа тома «Путешествия», где Бонплан описывал растения. Но Франсиа был неумолим.

Только в 1829 году он выпустил своего пленника.

Тысяча восемьсот двадцать второй год. Путешествуя по Италии с королем Фридрихом Вильгельмом III, Гумбольдт снова поднимается на Везувий. На обратном пути он ненадолго заезжает в Берлин. Но брат и на этот раз тщетно уговаривает его остаться. Письма Александра из Парижа полны насмешек над «берлинизмом», внушавшим ему отвращение; там «ненавидят все, что мешает спать», и «становятся тем одностороннее, чем шире делаются воззрения в других странах».

Самая подлая реакция душила в эти годы прусский народ. Фридрих Вильгельм III осуществлял все принципы «священного союза», заключенного монархами Европы для истребления повсюду «революционного духа» (Николай I ставил впоследствии этого короля в пример его сыну — Фридриху Вильгельму IV, безвольному и склонному к сентиментальной декламации).

Начавшиеся было робкие разговоры о конституции король сурово пресек. В прусских буржуазных кругах шло глухое брожение; его подавляли беспощадными репрессиями. Когда кинжал студента Занда покончил с Коцебу, бездарным писакой и мракобесом, началось усмирение университетов. Небывалое по жестокости, оно велось в общенемецком масштабе, под руководством «центральной следственной комиссии», заседавшей в Майнце. Вильгельм Гумбольдт был в числе немногих, протестовавших против передачи дел о студентах — прусских подданных — майнцскому

трибуналу. Вильгельм в свое время был прусским депутатом на Венском конгрессе, делившем Европу после низвержения Наполеона. Но теперь и Вильгельм оказался не ко двору в Берлине...

Александр в Париже дышалось свободнее.

Географ Риттер описывает в письме вечер у Араго в сентябре 1824 года, на другой день после смерти Людовика XVIII. «Около 11 часов явился, наконец, и Александр Гумбольдт, и все обрадовались его рассказам и новостям. Никто не знает столько, сколько он. Он все видел. Он уже с 8 часов утра на ногах, тотчас получил известие о смерти короля, говорил со всеми врачами, присутствовал при выставлении трупа, видел все, что происходило во дворце, знает все, что произошло в министерских кружках, в семействе короля. Побывал в Сен-Жермене, в Пасси, у разных высокопоставленных лиц и является теперь с полными карманами анекдотов».

В этих строках — весь «светский» Гумбольдт.

Из своих же разнообразных научных работ упорнее всего Гумбольдт занимался магнитными наблюдениями. С годами он был склонен придавать им все большее, совсем особенное значение. Сила, обнимающая всю землю, имеющая свои магнитные полюсы и магнитный экватор, знаменательно не совпадающие с полюсами и экватором земли, представлялась Гумбольдту как-то связанной и с вулканами и с землетрясениями.

Но чем больше росла слава Гумбольдта, тем ревнивее относился Фридрих Вильгельм к тому, что «солнце науки» сияет не в его Берлине. В 1826 году король перестал удовлетворяться намеками, которые Гумбольдт неизменно «не понимал», и официально предложил ему переселиться в прусскую столицу. Можно было оставаться глухим к просьбам брата, но брат не был королем. Гумбольдт вспомнил о пожалованных ему орденах, звании камергера, подумал,

наконец, о пенсии в пять тысяч талеров и титуле Excellenz^[5] в перспективе и ранней весной 1827 года через Лондон отправился в Берлин.

В том же году он начал (3 ноября) в университете свой знаменитый курс публичных лекций.

О чем читал Гумбольдт? От имени какой дисциплины выступал? Обо всем — и от имени всех дисциплин. Он читал о космосе.

Слушать его съезжались даже из других городов. Зал бывал переполнен.

Он прочел шестьдесят одну лекцию; последнюю — 26 апреля 1828 года.

Уже первые лекции произвели необычайный эффект. Тогда возникла мысль провести одновременно второй, популярный цикл для самой широкой, «народной» аудитории. Небывалая новость! Энциклопедия научного мировоззрения, преподносимая народу, — нет, об этом не слыхивали в Прусском королевстве...

В Певческой академии Гумбольдт прочел шестнадцать лекций.

О «бреши в недоступных стенах академической науки», о «живом общении величайшего ученого с народом», о том, что Гумбольдта слушали «король и каменщик», тогда говорили восторженно. Лекции посетило около тысячи человек. Король бывал действительно; трудно определить, сколько бывало «каменщиков». Но приходило много студентов, и литераторов, и учителей, и нечиновных чиновников; много женщин. То был выход науки если и не в народ, то все-таки в довольно широкие слои интеллигенции — в первый раз не только в Пруссии, но и в Европе.

Он читал о своей «физике мира», говорил о небе и о земле, смело давал сводку, итоги знаний по геологии, метеорологии, живой природе, рассказывал о человеке и человечестве.

Его слушали жадно, провожали овациями, хотя он читал без ораторских эффектов, не гонясь за занимательностью, как бы не уверенный еще в своей немецкой речи, от которой успел отвыкнуть, и не решаясь прибегнуть перед немецкой аудиторией к остроумию, галльской «соли», обычной для его парижских докладов.

Когда он закончил оба цикла лекций, специальный комитет поднес ему медаль. На ней изображалось солнце, латинская надпись гласила: «Озаряющий весь мир сверкающими лучами».

Гумбольдту шел шестидесятый год. Он стал главой немецкой науки, признанной крупнейшей фигурой во всей европейской науке. Это походило на апофеоз.

У короля в Потсдаме он бывал запросто; это он использовал для того, чтобы помочь объединению немецких ученых, разобщенных границами множества «герцогств», «княжеств» и «королевств».

И ему удалось добиться, чтобы в Берлине в 1828 году собрался общенемецкий съезд естествоиспытателей и врачей.

Не первый съезд. Но имя Гумбольдта привлекло на этот раз шестьсот ученых со всех концов Германии.

Его единодушно выбрали президентом съезда. Он произнес благородные слова: «Сама нация, разделенная как в своих верованиях, так и политически, поднимается во всей силе своих интеллектуальных способностей».

Гумбольдт Выглядел очень молодо; дух его почти не старел.

Но что же с его планами, с его путешествием, четверть века назад объявленным «ближайшей целью»? Ведь, «не видев Азии, нельзя считать, что знаешь земной шар...».

Не спеша он все это время вел переговоры с русским правительством. Наконец они закончены.

Азиатское путешествие становилось реальностью. Увы! В этой реальности осталось мало сходства с программой, намеченной в 1812 году...

12 апреля 1829 года Гумбольдт выехал из Берлина в Петербург.

Россия, Урал, Алтай

Из окон прусского посольства на Гагаринской Нева, покрытая бурым льдом с редкими разводьями, казалась необъятной, берег за ней окутывала мгла. Гумбольдта почти тотчас же пригласили во дворец. Несколько дней он обедал там, вечера проводил у императрицы, а наследник устроил в честь его особый обед, «чтобы потом помнить об этом». Онемеченная династия, невежественная, душившая как только могла у себя в империи науку, принимала с распростертыми объятиями европейскую знаменитость, «барона» и друга короля.

Его постоянно именовали бароном. Четверть века назад он не поправил президента Джефферсона, который тоже так назвал его. Постепенно баронский титул закрепился за Гумбольдтом, к некоторому недоумению специалистов по геральдике. Он привык к этому и сам несколько раз подписался так.

В Петербурге Гумбольдту не оставалось времени для осмотра города. Он отметил то, что встречал по пути из посольства во дворец или Академию наук, — единственную в мире набережную с чудолинией громадных сказочных дворцов, плашкоутный мост на Васильевский остров, музеи, ледяные горы, качели, бородатых людей в синих кафтанах и меховых шапках, крики сбитенщиков и балаганы со зрелищами на площадях...

Заседание Академии наук состоялось 29 апреля старого стиля. Гумбольдт сидел рядом с вице-президентом Шторхом, председательствовавшим вместо Уварова. Шторх передал гостю серебряную и бронзовую медали и диплом почетного члена — на пергаменте, в серебряном позолоченном футляре. Гумбольдт сказал речь о магнитных наблюдениях.

О своем намерении «стать русским, как стал испанцем», он пока не вспоминает. Даже в фамилии приветствовавших его вельмож не всегда внимательно вслушивается. Брату он пишет: «Военный министр Чрейтцев прислал мне из генерального штаба собрание гравированных карт». «Чрейтцев» — это Чернышев.

8 (20) мая двинулись в Москву. Экспедицию Гумбольдта сопровождал прикомандированный к ней горный чиновник Меньшенин, именовавшийся, совсем как в Пруссии, «обер-гиттенфервальтер». Курьер скакал впереди и, приводя в трепет зрителей, молниеносно устраивал смену троек на станциях. Ехали в трех экипажах, на этот раз специально изготовленных знаменитым каретником Иохимом.

В Москве Гумбольдта встретили старые знакомые: Фишер, с которым когда-то вместе учились во Фрейберге у Вернера, — теперь Фишер был дворянином и превосходительством, ездил четверкой и назывался «фон Вальдгейм»; Лодер, маленький юркий старичок со звездой, точно так же читавший лекции по-латыни, распространяя вокруг себя запах карболки и сулемы, как и некогда в Иене, где Гумбольдт и Гёте пересекали под его руководством трупы в анатомическом театре.

Прием состоялся в зале торжественных актов Московского университета. Отныне Гумбольдт — почетный член старейшего университета России. Осмотр кабинетов, обход аудиторий; три часа посвящены работе с Фишером в «музеуме». Профессор Перевощиков засыпан вопросами о климате, о показаниях барометра и термометра и как выводить из них высоту местности в московских условиях. Московский профессор сам сверил барометр гостя с университетским^[6].

Отправились в Кремль. Гумбольдт с жадным вниманием приглядывается к живой истории, каменному кружеву башен, темной живописи в соборах, к бесценным сокровищам Оружейной палаты и сумрачным

сводам Грановитой, где пировал Иван Грозный, где Петр справлял Полтавскую победу...

Наконец — обед в Благородном собрании. Как сообщили «Московские ведомости», «сей необыкновенный из ученых муж», «королевско-прусской службы действительный тайный советник, камергер и кавалер, барон Александр Гумбольдт», который «покушался возвыситься до недоступной вершины Бороаса (или Чимбароас)», прибыл в зал к трем часам дня. «Хр. И. Лодер приветствовал его на французском языке речью... и присовокупил, что за успех его на хребтах Уральских ручается Чимбароас». Гумбольдт отвечал: он считает «счастливым предвещением, что прежний его наставник, столь удачно его отпустивший на первый подвиг, и ныне обнадеживает его таковым же успехом». Потом, после того как выпили за русского императора, прусского короля и за гостя, он сказал еще, по-французски же, что в Российской империи он везде усматривает быстрые успехи наук, художеств и промышленности, свидетельствующие, что дух великого преобразователя сей страны непрестанно над нею бодрствует...

Но он вовсе еще не видел России. Лишь наспех переговорил с несколькими русскими учеными. Русскую музыку он слышал только в исполнении шарманщиков; на балах его угощали гимном «Боже, спаси царя», который играли на мотив английского «God, save the king», да отрывками из итальянских арий. И люди во фраках и манишках, имевшие самое непонятное отношение к науке, восклицали: «Виват, Гумбольдт, виват!». «С уст его не сходит никогда улыбка; он обладает всеми приятными приемами светского человека», — сообщает о Гумбольдте корреспондент «Галатеи». Но из Москвы сам он жаловался Вильгельму на «полицейских чиновников, казаков, почетную стражу». «Нельзя ни на один момент остаться одному;

нельзя шагу ступить без того, чтобы вас не поддерживали подмышки, как больного...»

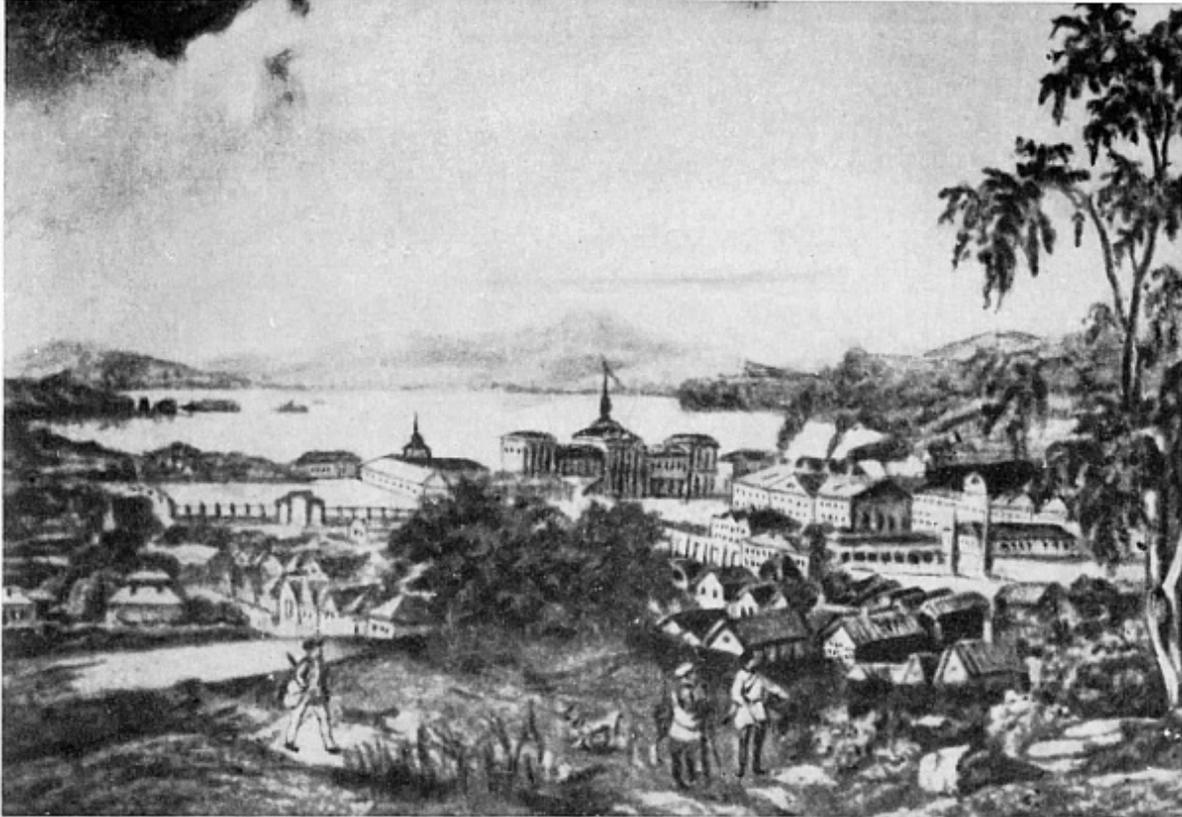
Путь лежал через Богородск, Ковров, Владимир, Муром. В этом городе, где магнитная стрелка не имела склонения, то есть указывала прямо на полюс, они целый день переправлялись через Оку. В Нижнем три экипажа поставили на большую барку, посередине которой под натянутой парусиной устроили стол с двумя скамьями, а на корме сложили печку. Восемь гребцов гребли сменами по четверо. Снег еще кое-где лежал на берегах рядом с яркой зеленью.

В Казань прибыли через шестьдесят три часа. В доме. Благородного собрания их встретил эконом, немец Герберт.

На Арском поле Гумбольдт делал астрономические и магнитные наблюдения вместе с гениальным Лобачевским (три года назад уже доложившим университету свое открытие неевклидовой геометрии) и астрономом Симоновым. Он знал Симонова и раньше. То был также путешественник. Он останавливался в Париже, возвращаясь из кругосветной экспедиции Беллинсгаузена, увидевшей мысы, заливы, обледенелые горы гигантской неведомой суши в южном полярном море.

Военный баркас отвез Гумбольдта к развалинам Болгара Великого, столицы волжских болгар, разрушенной в XV веке. Недалеко от впадения Камы в Волгу широкое место было усыпано битым камнем. Кое-где смутно рисовались линии улиц, стояли еще отдельные здания, темная невысокая мечеть, мавзолеи, «Белая» и «Красная» палаты...

1 (13) июня за Пермью, у Бисертской слободы, показался Урал. Через два дня путешественники вышли из экипажей в Екатеринбурге.



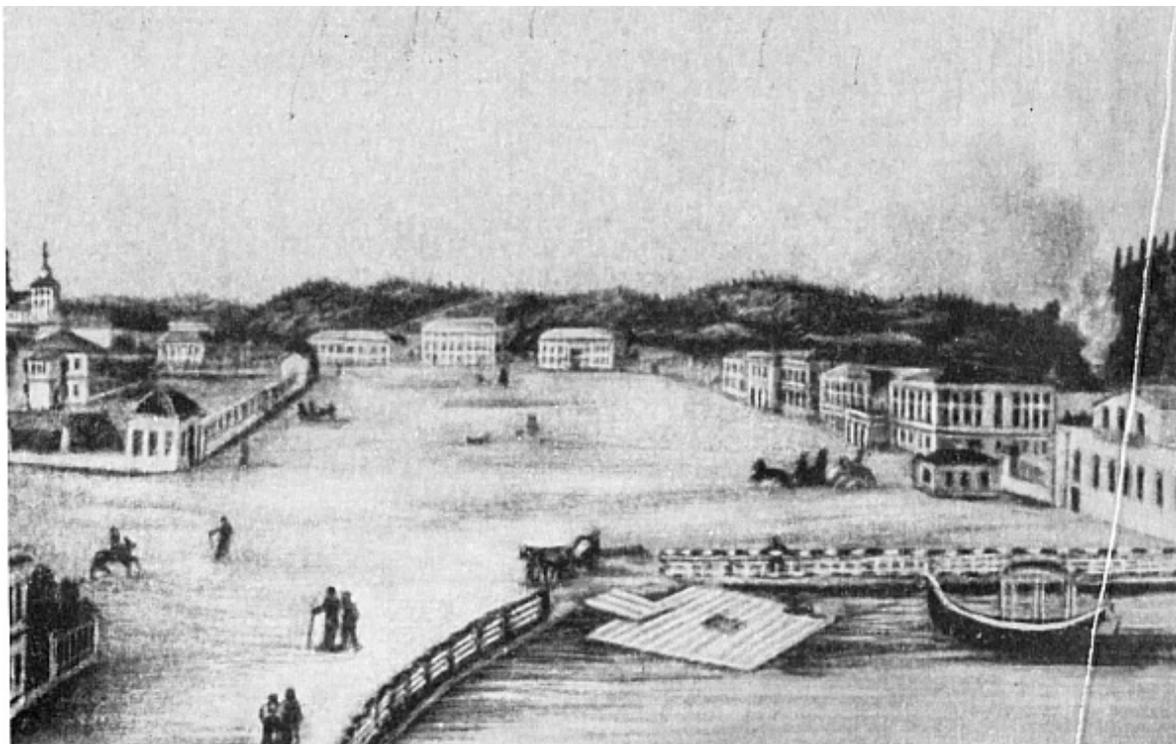
Верхисетский завод Яковлевых.



Нижний Тагил.



Колыванское озеро на Алтае в начале XIX века.



Златоуст в первой четверти XIX века

Все в этом городе, небольшом в то время, было связано с заводами, заимками, шахтами, приисками — с горнорудным Уралом. Повсюду мундиры горных чиновников, инженеров. Улицы пестрят вывесками контор. На дрожках, по-купецки — в сапогах бутылками, нетерпеливо понукая кучеров в синих армяках, торопятся промышленники.

Вечером в нескольких избранных домах города собирается «горное общество».

Но, отдав неизбежную дань торжествам, приемам, тостам, оттанцевав даже где-то кадрили, Гумбольдт все остальное время с рассвета до ночной темноты проводит в горах, в штольнях, в цехах.

Средний, северный Урал. Путешественник неустанно определяет высоты, следит за магнитной стрелкой, собирает образцы пород. Эренберг ворчит, что флора

горы Благодать мало отличается от флоры Тиргартена. Порою этого неистового гербаризатора, спутника Гумбольдта, приходится довольно сложным путем извлекать из болота, где он неловко увяз, охотясь за каким-нибудь красным мхом.

Дороги не везде, надо продираться сквозь заросли, через завалы гнилых стволов.

Сам Гумбольдт предпочитает верховым поездкам далекие прогулки пешком.

Горы покаты, их вершины закруглены, сточены временем. И безмерная ясность долгого северного дня льется над величественной пустынностью земли.

Одни охотники за медведями и росомахами попадают навстречу.

Но вот пеньки, лесные кладбища, лес сведен, обнажен бок горы. Все громче неумолчный постук, гул и шум бессонной работы. Еще завод, требующий осмотра.

Вечером, часов в девять-десять, когда сгущаются сумерки и наверху дела на сегодня закончены, Гумбольдт спускается под землю. Худой рыжий Розе в рыжих панталонах садится в вихляющуюся бадью. Гумбольдт медленными, осторожными, ровными шажками, слегка наклонив вперед голову, сходит по лестницам на девяностосаженную глубину...

Четыре недели такой жизни — настоящий калейдоскоп впечатлений. И все же грандиозная, пестрая, противоречивая картина промышленного Урала в главных своих чертах сложилась перед Гумбольдтом. И поразила его.

Тут все — завтрашний день. «Процветание уральских рудников и упадок американских», — такими словами определял он то, что поражало его.

На Урале не могло быть речи об оскудении. Молодая, нерасчетливая, опутанная тяжелыми путями, так что росла она подчас вкривь и вкось, все же набирала сил уральская промышленная жизнь.

Это была именно своя, уральская жизнь. Не департаменты петербургских министерств правили ею. Оттуда, из столицы, наоборот, глушили многое, не слышали, не желали слышать ничего — ни о беспокойных предложениях, ни об изобретениях, придумках, которые сыпались с этого горного кряжа, от этих неумных уральцев, даже вовсе не чиновных, а каких-то мелких служаек, простых инженеров, а то и вовсе мужиков-крепостных.

Гумбольдту трудно было, конечно, разобраться во всем этом. В четырехнедельном калейдоскопе ничего в подробностях и не рассмотришь. Но острый глаз, особенно пробуждавшаяся в нем во время путешествий жадность к познанию окружающего, соединенная с искусством исследователя и беспримерным упорством в труде, помогали угадывать основное. На иные резкие факты жизнь наталкивала сама, как ни отгораживали Гумбольдта от них эскорты, парады, приемы с иноязычной немецко-французской речью. В сущности, он постоянно окружен соотечественниками, которых, кстати, и сам искал. Поиски эти трудностей не представляли, соотечественники встречались повсюду: министры, чиновники, аптекари, ученые, управители, врачи, выписанные рабочие-немцы; даже в Тобольске Розе отмечал: «Далеко от родины мы почти забывали, что находимся в Сибири».

Со всегдашним своим доброжелательством Гумбольдт как бы представлял вниманию петербургского начальства (в письмах, которые он регулярно отправлял в русскую столицу) видных людей горной промышленности. Число имен невелико, значительная часть опять соотечественники, простых людей нет вовсе, о большинстве сказано в двух-трех словах — заметно, что Гумбольдт знает их больше со стороны внешней и казовой; но эти Гумбольдтовы упоминания все же сыграли свою хорошую роль: в

Петербурге, где с угрюмым недоверием встречали все «свое», к именитому гостю прислушивались. А Гумбольдт, вечный дипломат, отважился на этот раз даже хлопотать о ссыльном поляке.

Путешественники посещали на Урале предприятия, по тому времени образцовые: Кушвинский казенный завод, «порядок и чистоту работы на котором нельзя достаточно похвалить», яковлевские заводы, в первую голову Верхисетский. Качество изделий, технология производства, механизмы для раздувания печей, больница и аптека в рабочем поселке, самая архитектура зданий их, с колоннами и куполами, — все восхищало Гумбольдта и его спутников. Кто же поднял так яковлевские заводы? — допытывались они. И услышали ответ: Григорий Зотов, крепостной, он был управителем заводов...

Встречали они и «диких бар», не желавших признавать никакого усовершенствования, никакой механизации, никакого облегчения работ. Зачем? Рабы дешевле всего! Гумбольдт очень осторожно, очень дипломатично касался в своих письмах-отчетах Страшной язвы крепостничества. Он обсуждает вопрос преимущественно экономически. «Плохое распределение и применение человеческих сил», особые «условия пользования крепостными и мастеровыми на частных заводах», неразделение работ-«один человек и чугуны отливают, и деревья валит, и золото промывает». В итоге тысячи людей там, где достаточно сотен.

Он своими глазами видел (но никогда не говорил с ними) тех, кто трудился в мрачных, похожих на казематы, цехах Богословского завода или в Туринских медных рудниках. «Надобно иметь большое терпение и любопытство, подстрекаемое любовью к науке, чтобы обойти эту водоотводную штольню, грязную, кривую и низкую», — сообщает Меншенин об одной из экскурсий Гумбольдта. «Великолепные малахиты, но что за

безбожные разработки!» — вырвалось у самого Гумбольдта о турчаниновских владениях в «Гумёшках».

Он видел и леса, выжигаемые на топливо, — что жалеть «дикому барину»?! Табуны лошадей, впряженных в ворот, — «двигатель» для сиплых насосов, откачивающих воду...

Верно, так охотнее всего правила бы своими вотчинами-заводами и династия Демидовых. В 1829 году Анатолий Демидов еще не женился на племяннице Наполеона (которую он будет поколачивать вполне в духе ветхого Домостроя) и не купил еще себе княжества Сан-Дonato, но были Демидовы уже одними из богатейших людей России. Шестая, а временами и четвертая часть всего чугуна, производимого в России, выплавлялась на заводах Демидовых. А заводов этих, им принадлежащих, на Урале было несколько десятков. Гумбольдт посетил демидовский Нижний Тагил, осмотрел литейные и рудники, плотины и россыпи. Хозяев не было, они почти никогда не жаловали своим присутствием уральские заводы, откуда рекой лилось к ним золото. Да и в Петербурге, на Мойке, темными оставались зеркальные стекла пышного дворца: Демидовы предпочитали жить за границей. Лишь бы там, на Урале, все было как встарь, как сотню лет назад, когда впервые неслыханно, непомерно разбогател Акинфий Демидов, и как встарь, как сотню лет назад, безропотны были крепостные рабы, «крещеная собственность» потомков сметливого тульского кузнеца Демида Антуфеева и сына его, петровского оружейника Никиты Демидовича.

Но на заводах Нижнего Тагила многое оказалось не как встарь. Гумбольдт увидел важные технические новшества. Хозяева, в своем далеке, мало были повинны в них. Новшества заводили заводские инженеры, работники — из тех, о которых говорили: «Уральцы

коренные, до седьмого колена». И прежде других — замечательная семья крепостных Черепановых.

В наши дни историки пишут, что «механическое заведение» Черепановых на Выйском заводе стало центром передовой техники для всего Урала. Мы можем только догадываться, что сделали бы, чего добились бы эти люди необыкновенной технической одаренности, дерзновенно смелой мысли, железного напора, неутомимого трудолюбия в другое время, при иных условиях.

В 1829 году полный размах дела Черепановых был еще впереди. Но уже работали первые черепановские паровые машины. Уже задумывалась «паровая телега», «сухопутный пароход» — первый русский паровоз. Все трое Черепановых — старший Ефим Алексеевич, сын его двадцатилетний Мирон и подросток-племянник Амос — готовились строить его. Первая в России железная дорога скоро откроется не в столице, а именно здесь, на Урале, — Пароходная улица в Нижнем Тагиле до сих пор напоминает об этом.

Нижнетагильские заводы произвели очень большое впечатление на Гумбольдта. Розе в своем двухтомном «Путешествии на Урал, Алтай и Каспийское море» много пишет о них.

Но встречались ли путешественники во время краткого своего пребывания в Нижнем Тагиле с самими Черепановыми, мы не знаем. Недавно А. А. Остромецкий опубликовал архивный документ, в котором говорится: «Столь отличные по своему устройству и пользам паровые машины, как единственные на всем Урале, заслужили внимание и одобрение многих путешественников, в том числе знаменитого Гумбольдта...»

С каждым днем все нарастало у Гумбольдта ощущение неизмеримости богатства этой земли сокровищ. Руды, металлы, бериллы, топазы — он видел

все это воочию. Полупудовый кусок самородной платины сам нашел в Нижнем Тагиле. Во время неизбежного обеда на Сысертском заводе, где инженеры сидели в синих мундирах с золотым шитьем и черными бархатными воротниками, Гумбольдт взялся за салфетку — под ней лежал плоский тяжелый кусок самородного золота.

Однажды в Богословске в знойный полдень путешественник стоял возле колодца, который спорыли заступами несколько рабочих. Едва пробили верхний слой почвы, открылась смерзшаяся земля, глыбы обледенелой глины, вечная мерзлота.

Какой необыкновенный край — и как же мало дней отведено даже не на осмотр, а только чтобы успеть бегом обежать его!

Промчались дни — пора ехать дальше.

Путь ведет через Камышлов и Тюмень.

11 июля Гумбольдт смотрел с высокого берега на сизо-бурое непомерное пространство движущейся воды. Кое-где виднелись клочья сбитой пены. Это походило на равнину, на осеннюю степь. И Гумбольдт сказал тобольскому генерал-губернатору Вельяминову:

— Я с юных лет мечтал об Иртыше и Тобольске.

Поездка совершалась еще скорее, чем предполагалось; Гумбольдт решил, что остается время посмотреть и Алтай. Вельяминов отрядил с путешественниками своего адъютанта Ермолова (он приходился племянником «покорителю Кавказа»).

Потянулся открытый простор, изредка прерываемый березовыми колками. Зонтичные травы с горьким запахом поднимали выше человеческого роста желтоватые соцветия.

Начались болота. Экипажи запрыгали на кочках. В густом тростнике крикали утки. На закате вся плоская, неоглядная гладь наполнялась тонким ноющим звуком.

В свете фонаря крутились мириады мошкары. Лица замотали платками.

Ехали Барабинской степью.

Ночью в Каинске узнали, что дальше по пути свирепствует сибирская язва. Одни говорили, что ее вызывает укус мухи. Другие были уверены, что дело в испарениях огромных болот. Почти все советовали возвращаться. Гумбольдт двинулся дальше. С собой взяли запас провизии и бочонок с водой.

Три дня пересекали зараженную местность. Через вздувшуюся, почерневшую, бушующую Обь не было переезда. Сутки ждали на берегу, стараясь согреться и обсушиться у дымных, потрескивающих костров из сырого хвороста.

Каменные дома, тенистые деревья, тишина и пустота на чистых, широких улицах. Вот посередке одной из них бульвар, на листьях — матовая роса, тускло отсвечивает необычная мостовая — из шлака, остающегося от плавки серебра.

Так, на рассвете 21 июля, въезжали в Барнаул, алтайский центр.

Горный округ назывался Колывано-Воскресенским. Начальствовал в нем П. К. Фролов. «Деятельный ум и вкус г. Фролова встречаешь на каждом шагу в Барнауле», — отметил Ермолов в описании своей поездки с Гумбольдтом.

Двадцать лет назад Фролов проложил здесь, на Алтае, между рудником и заводом конно-железную дорогу. Она вошла во все книги по истории техники как важный этап в развитии железнодорожного транспорта. Паровоза еще не было, но рельс и колесо доведены до такой степени совершенства, что одна лошадь легко везла груз, который по грунтовой дороге потянули бы едва двадцать пять лошадей.

Фролов строил суда, расчищал реки, украшал город, реорганизовывал горное и заводское дело, в несколько

раз увеличивши производство в некоторых отраслях. Администратор и инженер, человек высокой культуры, энергичный, взыскательный, стремительный (о его внезапных наездах в какой-нибудь медвежий угол те, у кого рыльце в пушку, сложили присловье: «Не боюсь ни огня, ни меча, а Петра Кузьмича»), он был одним из тех русских людей, которые и в самые мрачные времена растили силу и богатство своей родины.

Шоссе проходило по широкой плотине, Фролов показывал машинное здание (машину двигала вода), корпус сереброплавильного завода, цветники и фонтаны около него, обнесенные чугунной решеткой — такой же, как у Михайловского замка в Петербурге.

Осмотрели городские музеи — зоологические коллекции, модели рудников и машин, оружие, утварь, одежды народов Алтая и Сибири.

Дома у Фролова была комната, обитая китайскими материями, устланная китайскими коврами; в шкафах расставлены фигурки людей с косыми бровями, разложены карты Небесной империи, рукописи на маньчжурском и монгольском языках. И Гумбольдт ощутил, как близки от этого вполне европейского города, от этого дома китайские рубежи, сердце Азии.

В Петербург он написал: «Господин фон Фролов образованный человек и с талантом».

Гранитные груды громоздились друг на друга. Причудливый мир казался еще более фантастическим в предрассветном полумраке. Первые красноватые, лучи ударили в глаза. Внезапно с крутой возвышенности открылось Колыван-озеро. Оно лежало в громадной мгlistой низине, как в круглой чаше.

В Змеиногорск приехали к десяти утра. На Алтае кругом, а здесь особенно, оставались живые следы работы другого Фролова, Козьмы Дмитриевича, горняцкого сына, гениального гидротехника. То был отец нынешнего гостеприимного алтайского хозяина

Гумбольдта. Козьма Фролов с детских лет был дружен с таким же, как он, сыном горного солдата Иваном Ползуновым, творцом «огневой машины». И судьбы их шли как бы рядышком — оба уральцы, оба попали на Алтай, где проработали все зрелые годы, обоих по таланту сравнивали даже в официальных петербургских документах.

Только Фролов на сорок лет пережил Ползунова, сраженного чахоткой молодым в 1766 году. И вовсе различно было то главное, что они делали.

Целью одного было покорение пара.

А другой стал замечательнейшим в человеческой истории властителем воды.

Гумбольдт и спутники его могли видеть в недрах Змеиной горы штольни, подземные реки, проведенные Фроловым; еще стояли исполинские семисаженные колеса. Вода у Козьмы Фролова двигала машины, мехи, молоты, насосы, поднимала руду, везла ее в вагонетках; то была удивительная подземная, почти нацело механизированная силой воды «кузница Плутона», или, лучше сказать, Плутона, подружившегося с Нептуном, — переворот во всей прежней технике горных работ. Мощная, покорная, бесконечно многообразная сила, фроловское чудо, как говорили о ней, — вот во что была тут превращена человеческим гением вода в канун века пара!

Пустынные гранитные и порфиновые горы прорезаны ущельями. Каменные колоссы нависали над узкой дорогой. Мрачная, дикая, величественная «дорога гигантов» ведет к Колыванской фабрике, знаменитой фабрике, чьи яшмы и порфиры Гумбольдт видел в парижском Тюильри, во дворце прусского короля, а недавно и в Петербурге, в Зимнем. Он ходит среди рабочих, он стоит подле — нет, он стоит под яшмовыми вазами-колоссами, одна четыре, другая семь аршин в поперечнике...

Риддерский рудник. Алтайские белки, в снеговых шапках, глядели прямо в слюдяные оконца избы, отведенной путешественникам. Еще не тронутый лес строевой сосны, пихты, берез и тополей подступал к селению. Медведи и горные козы спускались к грохочущей речке Громотухе.

Мысль о китайских рубежах не выходила из головы Гумбольдта.

В Усть-Каменогорской крепости, где шел торг с монгольскими караванами, Ермолов подарил Гумбольдту китайский компас.

2 августа горами на дрогах-долгушах двинулись в Бухтарминск. Над пещерой на скале была высечена вязь неведомой надписи. Ни Менъшенин, ни томский военный губернатор Литвинов, сопровождавший Гумбольдта, не знали, что это такое; русских же ученых в экспедиции Гумбольдта не было.

У форпоста Красные Ярки переехали границу Российской империи. Иртыш, клокоча, прорубал себе дорогу в острых скалах. Впереди было каменное сердце Азии.

И все же Гумбольдт не добрался до него. Он остановился у первого китайского поста.

Назад из Бухтарминска в Усть-Каменогорск спустились на двух плотках по Иртышу: по три лодки были связаны вместе, перестланы досками, и сверху поставлена войлочная юрта.

15 августа были уже в Омске. Тут губернаторствовал Сен-Лоран (Десентлоран), генерал, известный главным образом тем, что когда он колебался принять губернаторство, ссылаясь на отсутствие административного опыта, Николай сказал ему: «Поверь, наша военная часть мудрее всякой другой». Генерал в самом деле плохо усвоил премудрость администрирования в николаевской России. Он дал Гумбольдту в провожатые сосланного декабриста

Степана Михайловича Семенова. Вернувшись в Петербург, Гумбольдт рассказал императору, какого необыкновенно образованного человека назначил ему в спутники омский губернатор. Это поразило также и Николая, который нарядил строжайшее расследование и, узнав, кто это был, жестоко отчитал Сен-Лорана. Семенова перевели в Тобольск.

Началось путешествие по оренбургской военной линии. Коменданты маленьких крепостей встречали Гумбольдта в полной форме, навтыжку и рапортовали, взяв под козырек, о состоянии вверенных войск. Люди сбегались смотреть на странный поезд неведомой особы. Кто-то догадался, что везут сумасшедшего датского принца Гумплота.

Так или иначе, сделав почти круг, путешественники очутились на южном рудном Урале.

В Миассе, или, как его называли тогда, Мияске, из дома горного инженера Поросова, где остановился Гумбольдт, были видны Ильменские горы. Обетованная земля геологов, единственный в мире естественный музей, где природа собрала вместе десятки, сотни минералов. Нигде нет больше ничего подобного. И среди них — удивительные и редчайшие «цветы земли», существующие только в этом «саду минералов», в этом заповедном краю.

Кругом — золотые россыпи. В тридцати пяти верстах — Златоуст, знаменитый Златоуст-оружейник, кующий на всю армию холодное оружие.

И 2 (14) сентября, явившись в поросовский дом рано поутру, чтобы поздравить почетного гостя с шестидесятилетием, горные офицеры поднесли ему саблю.

В жизнеописаниях Гумбольдта, начиная с самых первых, можно найти только пренебрежительно-иронические упоминания об этом даре: саблю мирному путешественнику! Какие нравы в этой российской

глуши! Смущала подаренная сабля, хотя по другим причинам, и русских историографов Гумбольдтова путешествия, в их числе — крупного передового ученого академика Д. Н. Анучина: она напоминала о комендантах, встречавших навтыяжку экипажи Иохима, о николаевской муштре.

Очевидно, в условиях царской России быстро забылось, что сабля была не простой.

В то время помощником директора Златоустовской оружейной фабрики работал тот, кто стал новатором мировой металлургии, — Павел Петрович Аносов.

Во всей Европе тщетно разгадывали тысячелетнюю тайну булата, или дамасской стали. О прочности и остроте этих синевато-темных клинков с узором, в котором видели сходство с виноградной гроздью, с зыбью, с прядями волос, ходили легенды. Будто некий восточный властелин, поспорив с европейским королем, у кого сабля лучше, подбросил в воздух тончайший шелковый платок и как бритвой разрезал его на лету. Не зная секрета булата, европейские, в частности немецкие, оружейники травили «дамасские» узоры на обыкновенной стали: подделки именовали «дамаскированными».

Николаевское правительство готово было уплатить громадную сумму даже некоему Кахраману Елиазарову, которого кавказский наместник Паскевич отыскал в толчее тифлисского базара; но скоро выяснилось, что никакой «тайны булата» у Елиазарова не было.

А в это время Аносов в Златоусте уже твердо шел к разгадке ее. И вопрос для него был не в одном булатном оружии, он видел тут еще никем не тронутую проблему высококачественных сталей — металлургию будущего. Через двенадцать лет в классической работе «О булатах» он напишет: «...скоро наши воины вооружатся булатными мечами, наши земледельцы будут обрабатывать землю булатными орудиями, наши

ремесленники выделывать свои изделия булатными инструментами».

В Златоуст путешественники отправились 26 августа, ранним утром. Не торопились, их привлекало все в этой местности изумительной красоты, не сходной ни с чем, что они видели раньше на Среднем и Северном Урале. Мягкие, круглые, кудрявые горы, круто западающие лощины, яркая гладь раскиданных озер — «глазастая земля»! Заехали на Князе-Александровскую россыпь. Полдня ушло, пока показался Златоуст.

Множество немецких мастеровых. Ковачи из Золингена, шлифовщики из Клингенталя. Лет пятнадцать, как потянулись они сюда: им обещали в России такое жалованье, о каком и мечтать нельзя было на родине, в Германии, — две с половиной тысячи в год, сверхинженерный оклад.

Было в Златоусте к тому времени немало и русских превосходных оружейников, на долю которых приходилась лишь ничтожная частица этих щедрот. Розе не заметил их, городок показался ему совершенно немецким. «Совершенно немецкий фабричный городок, в котором мы повсюду слышали родную речь и видели родные порядки и нравы».

Старик Агте, директор завода, в сопровождении Аносова и еще одного инженера повели приезжих к домнам, горнам, по мастерским. Розе непрерывно записывал. Говорили с немецкими мастерами, смотрели, как они работают. Звенели под молотами стальные полосы. Быстро, от мастера к мастеру, от одного чистого, опрятного домика к другому, полетело: «Друзья! Gesellen! Бал в честь Гумбольдта! Чтоб были все! Noch!»

Городок лежал между горами Большой Таганай, Юрма — в самых именах звучал отзвук древней кочевой Азии, все еще полной неведомого для европейской науки. Гумбольдт еле дождался утра. Начинался дождь.

Подождать? Упустить сутки?! День 27 августа проведен на Большом Тагане.

Двадцать восьмого передышка. Все были истомлены. Это значит — с утра до вечера осматривали частные коллекции в Златоусте. Они были интересны, обильны. Культурнейшие люди, русские инженеры, жили и работали в маленьком городе стальных клинков. Аносов — прекрасный геолог. С ним можно обсудить и свои удаchi во всех многочисленных минералогических экскурсиях и вчерашний день, когда, к сожалению, было больше неудач. Розе старательно записал разговор о геогностических особенностях местности; Аносов передал Гумбольдту карту Златоустовского горного округа.

А Гумбольдт также нашел время написать большое письмо жене министра финансов Канкринз в Петербург — остроумное и непринужденное, как вообще писал он письма, особенно женщинам. Он рассказал про бал немецких мастеровых, про барометр, разбитый на горе Таганай, и про двух молодых людей, двух юных геологов, Гофмана и Гельмерсена, которые съехались с ним в Миассе, — им было разрешено по его просьбе некоторое время сопровождать его и дальше. «Во имя науки приносим благодарность превосходному министру, что он доставил таким людям (подчеркнуто Гумбольдтом) возможность исследовать геогностически важный отдел русских гор...»

Двадцать девятого поутру Гумбольдт покинул Златоуст.

Письмо было не последним с Южного Урала. Он сообщал в Петербург о своих геологических наблюдениях: о строении гор, горных породах, камнях, рудах, минералах, — видно, что тут его главная страсть, он убежден, что и адресат, кем бы он ни был, пусть хоть министром Николая I, не может не разделить ее.

Он высказывает смелые, глубокие мысли о не тронутых еще сокровищах Урала, гордится тем, что его путешествие поставило вне сомнения существование на Урале и олова. Обсуждает зорко подмеченные недочеты горного дела. Полстраницы посвящает раздумьям человека на другой день после шестидесятилетия, когда пройден «поворотный пункт» жизни. И снова о Гельмерсене и Гофмане.

Только одна фраза, единственная фраза, написанная со всей светской ловкостью, касается подарка — сабли: «Благодарность за подарок красивой сабли с дамаскированным клинком должен я, верно, направить вашему высокопревосходительству», — то есть министру Канкрину! (Из Миасса, 3 (15) сентября.) [7]

Надо думать, что Гумбольдту сказали, что этот клинок аносовской стали. Но понял ли он, что сталь, вот эта, которую он держит в руках, единственная в мире?

Нигде ни строкой он не показал этого — ни он сам, ни подробно писавшие о русском путешествии еще при его жизни и, конечно, выверявшие написанное с ним Розе и Клетке. Слишком стремителен был пробег по городам и весям России, и, мы видим, иные всепоглощающие интересы владели Гумбольдтом...

Клинок был из стали восемнадцатого опыта — уже с узорами; но еще сотня плавок потребуется, пока сам Аносов признает свою сталь — года через четыре — настоящим булатом. Тем легче стало в строку привычное слово «дамаскированным».

Имя Аносова Гумбольдтом упомянуто лишь один раз в конце письма, в числе лиц, которым он благодарен за внимание: Агте, Поросов, Аносов...

А в менышенинском отчете нет ни звука о самом замечательном человеке Златоустовского завода.

В Миасс пришло к Гумбольдту нетерпеливо, давно ожидаемое им известие, что у Бисертской слободы, через несколько дней после его отъезда, на золотых

россыпях графини Полье, найдены три алмаза. Гумбольдт просил повторить это несколько раз. Он сказал окружающим, что сегодня у него день большой радости. Теперь, как и раньше, самой большой радостью для него была бескорыстная радость открытий. Он предсказывал, что на Урале найдут алмазы. Министру Канкрину он написал: «Урал — настоящее Дорадо, и я твердо стою на том (все аналогии с Бразилией позволяют мне уже два года это утверждать), что еще в ваше министерство в золотых и платиновых россыпях Урала будут открыты алмазы... Если мои друзья и я, мы сами не сделаем этого открытия, то наше путешествие будет служить к тому, чтобы побуждать других».

Меньшенин хмурился. Очутившись волею судеб в роли провожатого при Гумбольдте, он не одобрял ни такого способа путешествовать, ни самого Гумбольдта.

Гумбольдтов фельдъегерский «пролет» его коробил, да и утомлял. С Уралом Меньшенин знакомился не со стороны: тут начал он практикантом, обходил прииски на севере и на юге, был смотрителем Екатеринбургской золотопромывальной фабрики. Его влекла наука, книга; он начальствовал в типографии, директорствовал в библиотеке, заведовал минералогическим кабинетом. Его ум, свободный от романтических взлетов, «охлажденный» (недавно прочли это слово в первой главе «Евгения Онегина»), содержал в отличном порядке обширный запас практических и теоретических знаний. Он читал лекции в горном корпусе; он писал. Екатеринбургскую фабрику описал тщательнейше. Теперь в типографиях печатались, в библиотеках хранились его статьи и заметки по разным вопросам горнозаводского производства и горной истории. А «Путешествие» рисует нам Меньшенина не чуждым также изящной словесности: по вполне деловому отчету щедрой рукой рассыпаны «живописные и пиитические» (сказано об озере Колыван) красоты природы и

риторические, во вкусе эпохи, восклицания («Но какая сила подняла сии ужасные громады... и поставила их перпендикулярно?» Об утесах на Иртыше).

Карьера его быстро шла в гору: служба при губернаторе, казенная палата — и вот он в Петербурге. Ему нет еще сорока, а уж три года он занимает видный пост — у самого кормила горной науки.

В простоту чрезвычайных открытий он не верил; внезапные обобщения кажутся ему легкомысленными. И во время всей поездки длится безмолвный упорный поединок двух различных типов мышления, двух мировоззрений, двух людей, почти полярно противоположных друг другу. То молчанием, то кратким ответом, то взглядом — из тех, что в столице входило в моду называть «байроническими», — Меньшенин давал понять Гумбольдту, что «сопровождающим» в этой экспедиции должен быть уж, во всяком случае, не он, не Меньшенин.

Но Гумбольдт, утомленный рапортами, раутами, приемами, занятый разъездами, осмотрами, промерами, сборами, восхождениями, понял только то, что вот хотя бы обер-гиттенфервальтер не донимает его своей навязчивой любезностью, и остался вполне доволен своим спутником.

В поединке победа оказалась на стороне Гумбольдта. Он заглянул дальше, вперед, в грядущее. Время неопровержимо доказало это.

Только видел ли, понимал ли он все-таки, в каких нечеловеческих условиях жили те, чей безымянный гений, чье изумительное искусство заставляли эти горы раскрывать свои тайны, — рудознатцы, горщики, «каменных дел» мастера — те, с кем никогда не говорил Гумбольдт? Видел ли это Гумбольдт?

В одно из немецких писем к Георгу Канкрину, российскому министру, он включил некоторые намеки. Но тут же успокоил министра: «Само собой разумеется,

что мы ограничиваемся наблюдениями над мертвой природой и избегаем всего, что касается человеческих учреждений и условий жизни низших классов народа. То, что иностранец, незнакомый с языком, может об этом вынести в свет, всегда рискованно, неверно, и ввиду такого сложного механизма, какой представляют собой отношения и приобретенные некогда права высших сословий и обязанности низших, способно только раздражать без какой-либо пользы».

Министр философски отвечал на это: «Я вполне согласен с вами, когда вы заявляете о желании заниматься возможно менее политическими условиями уральского населения, и не столько вследствие трудности исследовать право или бесправие таких древних исторических порядков, сколько вследствие плачевного хода человеческих дел вообще, когда масса слушается только силы, хитрости или денег...»

Некогда в «Политическом опыте о Кубе» Гумбольдт писал: «Обязанность путешественника, видевшего ближе то, что терзает и унижает человеческую природу, — довести жалобы несчастного до сведения тех, чей долг их облегчить. Этой части моего сочинения я придаю гораздо большую важность, чем кропотливым трудам по астрономическому определению положения мест, магнитному склонению и сопоставлению статистических данных».

Перед прибытием Гумбольдта в Оренбург разыгралась курьезная сцена. Он послал письмо генерал-губернатору Оренбурга Эссену с просьбой распорядиться добыть некоторых редких животных Оренбургского края. Почерк Гумбольдта был теперь лишь немногим разборчивее египетских иероглифов. Письмо ходило по губернаторской канцелярии. Наконец один чиновник расшифровал его. Генерал рассвирепел:

— Я не понимаю, как мог прусский король дать такой высокий чин человеку, занимающемуся подобными

пустышками!

Эссен вскочил в коляску и поскакал из вверенного ему города, чтобы только не встретиться с гостем. Но на тракте они все же встретились. Оба вышли из экипажей, церемонно раскланялись и разъехались в разные стороны.

Оренбург — центр караванной торговли со Средней Азией. В двух верстах от города находится Меновой двор — квадрат сто саженой длиной и шириной, огороженный каменными стенами. Туда вели двое ворот — для европейских и азиатских торговцев.

В этом городе, вблизи которого оставались еще следы лагеря Пугачева, жил Григорий Силыч Карелин, капитан в отставке и путешественник. Он был внезапно сослан сюда за шутку об Аракчееве. Его квартиру заполняли минералы и чучела птиц. У него подолгу сиживал Иван Иванович Карин («Иван, Иванов сын» — русскими словами записал Гумбольдт), казачий урядник, самоучка-ботаник. Они склонялись над гербарием, а мимо по немощеной улице с серыми колючками и глиняным забором гуськом, позванивая колокольцами, проходили верблюды, и рыжее облачко пыли вставало за ними.

— Простой казак, определяющий насекомых по Кювье и Латрейлю! — восхищенно отозвался Гумбольдт.

Но чаще, чем с Кариным, Гумбольдт беседовал с фон Генсом, генерал-майором. Гумбольдт не мог оторваться от карт Генса, председателя азиатской пограничной комиссии.

— К северо-востоку от озера Балхаш, — сообщал Гене, — стоит высокая гора. Раньше она извергала огонь. И теперь еще она пугает караваны сильными бурями, которые непонятно рождаются на ней. И караванбаши никогда не забывают принести в жертву этой горе овец.

Из Оренбурга Гумбольдт написал: «Я не могу умереть, не повидав Каспийского моря». Через полвека он вспомнил о мальчике, стоявшем перед географическими картами в классной комнате замка Тегель...

В Астрахань ехали кружным путем — через Уральск, Бузулук, Самару и Сызрань.

Из Дубовки свернули к озеру Эльтон. Оно лежало среди красных коленчатых растений. Хрупкая корка соли покрывала землю. Миллионы мертвых насекомых плавали в мелкой тусклой воде.

Наконец увидели частокол мачт и колокольню над ними. Это была Астрахань.

Губернатор представил именитому гостю городского голову Астрахани. Купцы поднесли торт, убранный виноградом и персиками. Явились депутаты армянских, бухарских, узбекских, персидских, индийских, туркменских и калмыцких торговцев, объяснивших, по приглашению губернатора, каждый на своем языке, что они с умилением следят за славой барона Гумбольдта.

У купца Евреинова было три парохода. На одном из них Гумбольдт спустился к морю. Сзади пароход тащил баржу с дровами для топки. Утром высадились у Бирючьей косы. Сушились сети, пахло тиной; на грязном песке валялись известняковые камни — балласт, сброшенный судами, пришедшими из Баку. Шныряли ящерицы с растопыренными ногами; проползли две змеи; ушел в нору черный тарантул. Чайки низко летали над сбитой у берега пеной в желтой воде.

Пыхтящий казенный пароход отвез Гумбольдта дальше в море. Плоский берег казался чертой, проведенной по линейке. Тянулись низкие острова в камыше. Маяк на острове Четыре Бугра, белевший далеко, обозначал конец земли. Море замкнуло круг. На юге синело. Вода под кораблем была густой и бурой. Лот

показывал шесть с четвертью — шесть с половиной футов.

В три часа ночи капитан заявил, что поворачивает обратно, — кончались дрова. Зачерпнули воды в бутылки; ее можно было пить.

Возвращались на север быстро. Гумбольдт спешил. Была середина октября. В Москве, однако, пришлось задержаться. Фишер фон Вальдгейм никак не хотел скоро отпустить Гумбольдта. Был снова устроен прием в университете.

В Петербурге на этот раз Гумбольдт пробыл больше месяца — с 13 ноября по 15 декабря нового стиля. Меньшенин подсчитывал для своего отчета: «В 23 недели путешественники объехали 14 500 верст, в том числе 690 верст водою, и, кроме того, около 100 верст по Каспийскому морю; они были на 518 станциях и привели в движение 12 244 лошади; они имели 53 переправы через разные реки, в том числе 10 через Волгу, 2 через Каму, 8 через Иртыш и 2 через Обь». Обергиттенфервальтер обладал юмором...

Николай, приняв Гумбольдта, сказал по-французски:
— Ваш приезд в Россию вызвал громадные успехи в моей стране; вы распространяете жизнь повсюду, где вы проходите.

И подарил соболью шубу и вазу высотой в семь футов с пьедесталом.

С Гумбольдтом виделся Пушкин.

— Не правда ли, — отозвался он о немецком госте, — Гумбольдт похож на тех мраморных львов, что бывают на фонтанах? Увлекательные речи так и бьют у него изо рта.

Пушкин сказал о Гумбольдте примерно то же, что и Гёте («Он подобен источнику со многими трубами — все мы должны только подставлять сосуды, и неисчерпаемые струи наполнят их»), только проще, без глубокомыслия, которое иной раз на собеседников Гёте

производило такое впечатление, будто великий поэт с благоговейным изумлением прислушивается к собственным речам.

16 (28) ноября состоялось экстраординарное заседание Академии наук «в честь барона А. ф. Гумбольдта». Оно было собрано не столько для того, чтобы Гумбольдт рассказал русским ученым о своем путешествии по России, обсудил с ними выводы, посоветовался, — пожалуй, даже меньше всего это имел в виду президент академии Уваров, автор пресловутой формулы «православие, самодержавие и народность», человек, которого Пушкин скоро выведет в сатире «На выздоровление Лукулла», — там Уваров, между прочим, обещает: «И воровать уже забуду казенные дрова».

Экстраординарное заседание Академии наук было собрано главным образом для того, чтобы этот Уваров сказал выпендюющую речь о Гумбольдте — «Прометее» (как именовался он в одном сочиненном в то время на французском языке стихотворении) и о беспримерном развитии всех начал гражданской жизни под просвещеннейшей эгидой государя императора Николая Павловича.

Граф Хвостов, относительно которого Пушкин жалел, что он не может удержать «ни урины, ни стихов», соорудил специальные вирши «Сергею Семеновичу Уварову на чрезвычайное собрание Имп. Академии наук, ноября 16 дня 1829 года»:

Наперсник мудрости, наук краса —
Гумбольдт зрел полюсы (!), зрел небеса;
В любви к изящному не зная меры (!!),
Он видел Тенериф и Кордильеры;
Природы тайны вновь с Урала он
Пред русского царя приносит трон.
Недавно в Севере, жезлом волшебным
Ударя по гребню алмазных гор,

Слома стрегущий их досель затвор,
Он там сокровищам открыл несметным
В Россию славную свободный ход.
С Петрова времени сторичный плод
При Николае зрим, узрят и наши внуки
Сияние ума и луч науки.

Гумбольдт на прощанье рекомендовал особому попечению академии три предмета: 1) магнитные наблюдения, 2) метеорологические наблюдения, 3) точное изучение обширной Каспийской депрессии, лежащей ниже уровня Черного и Балтийского морей. Как всегда, он точно и ясно определил значение, цели и наметил план этих трех исследований. Он говорил о том, что действительно должно было стать важной задачей русской науки. Он говорил о всемирной организации магнитной и метеорологической службы. Но, упомянув о Куре и Арарате, он очень искусно перешел к недавней войне с Турцией и закончил так: «Но не в этой мирной ограде следует мне говорить о славе оружия. Августейший монарх, милостиво призвавший меня в свою страну и относящийся с одобрительной улыбкой к моим работам, представляется мне гением-умиротворителем. Ему, кто дает своим примером жизнь всему тому, что истинно, велико и великодушно, угодно было, с самой зари своего царствования, оказать покровительство изучению наук, питающих и укрепляющих разум, а равно литературе и искусствам, украшающим жизнь народов».

Этот пассаж Гумбольдт сам прокомментировал в письме к немецкому писателю Варнгагену. Он называет свое славословие Николаю I, ненавидевшему кровно даже слово «просвещение», «cri de Petersbourg» (то есть криком петербургской моды), «пародией перед двором,

усиленным трудом двух ночей... желанием сказать то, что должно было бы быть».

Гумбольдт переборщил. Его слушали русские ученые, а не одни сановники и царедворцы.

3(15) декабря 1829 года Гумбольдт покинул Петербург.

Огнедышащая гора Бей-Шань

В Париже грянула Июльская революция. Орлеаны сменили Бурбонов.

Фридрих Вильгельм отправил Гумбольдта улаживать дела с Людовиком Филиппом, которого Гумбольдт знал лично. Он воспользовался этим новым дипломатическим поручением, чтобы прожить в Париже два года — с 1830-го по 1832-й.

Помимо всего прочего, это нужно было ему и для надзора все за тем же нескончаемым изданием его американского путешествия.

Гумбольдт всегда вел обширную корреспонденцию со всем миром. Теперь письма и запросы он отправлял и в Россию. Несколько раз писал Меншенину — ответа не было. Наконец Гумбольдт послал ему подарок — теодолит. Меншенин не отозвался. «Откуда такая злоба?» — с искренним изумлением спрашивает Гумбольдт (в письме к Гельмерсену).

Отношения с Гёте мало-помалу снова наладились. Еще в 1816 году Гумбольдт прислал ему «Идеи к физиономике растений». Гёте тяжело переживал смерть жены, он ответил стихотворением: «...Будь мужествен, чтоб радостно свершать...»

До отъезда Гумбольдта в Россию они виделись. Гёте сказал своей верной «тени», Эккерману:

— Что это за человек! Никто из живых не может сравниться с ним знаниями. И всесторонность, какая мне еще не встречалась. Он останется здесь несколько дней, и я уже чувствую, что для меня это будет — как будто я переживу годы.

Для Гумбольдта он находит параллель только в «удивительных людях XVI и XVII столетий», которые «сами представляли собою академии»^[8].

5 октября 1831 года Гёте пишет Цельтеру: «Какой необычайный талант у этого необычайного человека — заговорить слушателя, заставить его поверить, что он убежден... Воображаешь, что ты понял невозможное. То, что Гималаи поднялись на 25 000 футов и гордо, как ни в чем не бывало, смотрят в небо, этого моя голова не вмещает...»

«Признал» ли Гёте Гималаи (которые на самом деле еще гораздо выше) или только отдал дань красноречию Гумбольдта? Во всяком случае, наконец, поколебался непреклонный гётевский нептунизм...

22 марта 1832 года Гёте умер.

Суживался круг людей, среди которых Гумбольдт прожил жизнь.

Годом позже умерла Рахиль, та самая Рахиль-Сивилла, подруга Генриэтты Герц, женщина с «аристотелевским», «расщепляющим волосы» (haarspaltende) умом, жизнь которой была живой историей немецкой литературы целой эпохи.

В эти годы Гумбольдт все ближе сходил к человеку, с которым Рахиль, старея, связала свою судьбу. Варнгаген фон Энзе был на шестнадцать лет моложе Гумбольдта и на четырнадцать лет моложе своей блестящей жены. Он был ранен под Ваграмом и в 1814 году, адъютантом генерала Теттенборна, прискакал в Париж. С поэтом Шамиссо он издавал «Альманах муз». Варнгаген бойко писал обо всем на свете — от философских проблем до светских скандалов. Его литературный салон посещали охотно, но посещали все еще ради хозяйки, а не ради хозяина.

Брат Вильгельм одряхлел. Кто бы мог сказать, что этот человек, сгорбленный, неразборчиво шамкающий бескровными губами, только на два года старше Александра? Александр не узнавал брата, с которым, что бы там ни было, он прожил долгие годы так, как не

всегда это бывает между братьями, — вместе учась, часто вместе работая и вместе думая.

Вильгельм умер 8 апреля 1835 года. Александр отложил свои дела, чтобы подготовить трехтомное издание сочинений Вильгельма.

К исследованиям о языке кави он написал предисловие.

Обработка материалов азиатского путешествия шла очень мешкотно. Официально Гумбольдт не нес никаких служебных обязанностей. Но фактически король чуть не ежедневно требовал его к себе в Потсдам. Нет, король Пруссии платил ему пенсию не даром! Короля мало беспокоило, что он отрывает Гумбольдта от научных занятий. Он знал, что этот обходительнейший царедворец, этот человек, увешанный орденами, которому он, король, дал титул «Эксцелленц», прославлен во всем мире. Потому-то он и выписал его в Берлин и теперь хотел в полной мере использовать эту диковинку. Впрочем, слушать про магнитную стрелку или про эти бесконечные азиатские степи и горы, горы и степи — скучно. И, пожалуй, от этого может в конце концов закружиться голова — будто заглядываешь в пропасть. Пусть лучше почитает вслух какие-нибудь книжки, лучше — роман. Чтица мужского пола, притом академик, — забавно... Под Гумбольдтово чтение королю так сладко дремлет... «Вечное качанье, подобно маятнику, между Берлином и Потсдамом...» — жалуется Гумбольдт в письмах.

Не только король — вся королевская родня считала себя обладающей правом собственности на него. Его одолевали принцы и принцессы, — эти стремились на своих царственных досугах почерпнуть из первоисточника немного сведений о том, как идут дела у философии и науки.

В конце тридцатых годов у Фридриха Вильгельма III появились признаки старческого маразма. Ржавый руль

прусского государственного механизма постепенно выпадал из его дряхлых рук. «Машина продолжает работать, но чисто автоматически», — писал в Петербург русский посол в октябре 1839 года.

Наконец в июне 1840 года умер этот не в меру засидевшийся на прусском троне король, один из столпов «священного союза», превративший Пруссию в военное поселение.

Новый король, Фридрих Вильгельм IV, который и сам начинал уже стариться, дожидаясь очереди царствовать, мечтал о Барбароссе и Львином Сердце, о цехах, турнирах и миннезингерах. Он видел себя сидящим на возвышении в кругу своих вассалов, как отец среди детей. «Никакой власти в мире, — говорил король, — не удастся принудить меня превратить естественное отношение короля к народу в договорное. Я никогда не допущу, чтобы между господом богом и этой страной втерся писанный лист в качестве второго провидения».

И «добрый отец» расстреливал и сажал в тюрьмы своих «детей», когда они заводили речь об обещанной давным-давно конституции. Вместо нее он забавлялся игрой в ландтаги и церемониями присяги чинов, одетых в средневековые камзолы.

Король ненавидел «политиков» и «просветителей». Он произносил обличающие речи против жалкого человеческого рассудка. Рассудок короля в самом деле не отличался ни силой, ни ясностью. Слабовольный «отец подданных» постоянно колебался. Он то писал в Петербург «своему дорогому Никсу»: «Верьте мне, что у вас на свете нет друга вернее командира вашего авангарда (!) — старого Фрица», — то, перепуганный баррикадами 1848 года, присягал всему, чего от него требовали, чтобы затем втихомолку уничтожить все обещанное. «Дорогой Никс» не переваривал этого болтливового короля-декламатора, никогда не говорящего

ни да, ни нет, не умеющего, по мнению Николая, взять Пруссию в ежовые рукавицы. «Подлость, трусость и глупость, — писал он Паскевичу, — имеют в Берлине своего постоянного представителя в лице короля, к которому презрение, и заслуженное, не знает уже меры».

И этот король почти не расставался с Гумбольдтом. Он требовал его ежедневно к себе в берлинский дворец, в Потсдам, в Сан-Суси, возил с собой на Рейн в 1841 году и в следующем году в Лондон — крестить принца Уэльского.

В это время безоблачное небо славы и всеобщих восхвалений Гумбольдта уже омрачили тени, первые тени.

Едва вернувшись из России, Гумбольдт прочитал в английском «Курьере» статью с резкими обвинениями: он безответственно преувеличил производительность рудников Мексики, ему поверили простодушные дельцы, и предприятия, организованные для эксплуатации фантастических богатств, лопнули.

Французский «Монитор» перепечатал статью.

Гумбольдт принял ее близко к сердцу. «Это нечто бесчеловечное — нападать так на человека, который никогда не давал доказательств своекорыстия, и притом в такой момент, когда он только что вернулся из обширного научного путешествия! Разве моя вина, что собранные мною 25 лет назад сведения о богатстве мексиканских рудников (в справедливости этих сведений не сомневался еще никто из живших в Мексике) соблазнили Джона Булля доверить самым глупым образом миллионы невежественным людям! Я с самого начала заявил, что не желаю иметь никакого дела с этим бесчинством в головокругительном далеке. Я отклонил от себя звание генерал-директора и консультанта в Европе с даровыми акциями (на которых я мог нажать тогда 20 000 фунтов стерлингов); я

отказался и от большой золотой табакерки, которую подносили мне в знак благодарности».

Но почти следом, еще до напечатания официального, меньшенинского отчета о путешествии, такая же статья появилась и в петербургском «Горном журнале». На ней обозначено: «Из английской газеты „Курьер“, Лондон, 15 января 1830 года». Но это статья о русских делах, — словно писал ее тот, кто сталкивался с Гумбольдтом и ничего ему не простил.

Тут было все: издевка над молодым пылом старика («в отношении к почтенному барону прошедшие лета, кажется, нисколько не умерили порывов его юности»); известия, им привезенные, о золоте, алмазах, платине, рудных богатствах именованы высокопарными уверениями и, вовсе без церемоний, разглагольствованиями («как будто вещества сии могут быть отысканы и собраны без малейшего труда пришлыми в ту страну»); обо всей речи на академическом собрании сказано, что «речь сия несет на себе в высокой степени печать льстивой вежливости и преувеличений».

Одним из редакторов «Горного журнала» был Меньшенин...

Но не он один — в России многие остались недовольны путешествием Гумбольдта. Кого промчали в коляске среди скачущих казаков с шашками наголо? Барона, тайного советника, друга прусского короля, а не исследователя! Его пригласил двор; по дворцовой указке ему воскурялся фимиам.

— Гумбольдтово путешествие — чистейшее шарлатанство! — сердито крикнул академик Гамель историку Погодину.

И все это больно задевало Гумбольдта. Тысячеголосый хор восхвалений не мог заглушить для него этих голосов. С точки зрения нового поколения, он

не был уже пролагателем путей, идущим впереди, — вот что он слышал в них.

И в тридцатых годах только обозначилось, а потом заговорило все громче то мучительное беспокойство — «qualende Unruhe», по выражению его биографа Дове, которое окрасило всю его последующую жизнь.

И все же поездка в экипажах Иохима с казачьим эскортом не только не была шарлатанством, но дала больше, гораздо больше, чем можно было ожидать при такой организации путешествия. Сказались изумительная эрудиция Гумбольдта, выработанные им в себе, отточенные еще в Новом Свете навыки путешествовать и настоящее мастерство географического исследования.

Спустя тринадцать лет (во время которых он опубликовал ряд частных статей) был, наконец, готов большой трехтомный его труд «Центральная Азия». Он отвечал этими тремя томами своим обвинителям и, вероятно, самому себе, своему беспокойству. И в этой грандиозной тысячестраничной монографии, подавляющей собранным в ней материалом, данным концентрированно, без воды, сжатым иногда в сухие перечни, заключены необычайные по широте и смелости обобщения (трудно поверить, что они выросли из полугодовой прогулки!).

Гумбольдт пишет о той Центральной Азии, которой он, в сущности, не видел (и тут различие с американским путешествием!). Он широко пользуется на этот раз сведениями русской науки. Собственные наблюдения у края каменного сердца Азии он обогащает данными редчайших источников, сообщениями путешественников, придирчивым сличением чуть не всех существовавших карт.

Он кончает раз навсегда с географическим мифом о плоскогорье Татария, об этом гладком подоблачном

столе, поставленном в центре мира. На месте Татарии он видит целую систему хребтов.

Он дает метод для вычисления средней высоты материков и сам вычисляет ее (для всех материков). Правда, он многого не знает. Материки у него получаются, с нашей сегодняшней точки зрения, слишком низкими. Высота Азии Гумбольдтом преуменьшена почти в три раза (351 метр вместо 920–970 метров). Он, так отстаивавший гигантский размах деятельности горообразующих сил, все-таки не представляет себе истинной огромной высоты «крыши мира» — Памира и Тибета.

Он обнаруживает как бы костяк исполинского азиатского материка, геометрическую прямоугольную решетку хребтов, вытянутых по параллелям и меридианам.

По параллелям тянутся Алтай, Тянь-Шань, Куэнь-Лунь, Гиндукуш. По меридианам — Урал, Кузнецкий Ала-Тау, Большой Хинган, Солимановы горы в Индии.

Куэнь-Лунь Гумбольдт продолжил через Гиндукуш до Малой Азии. В нем воскресал Тавр древних. Тянь-Шань через Гоби доходил китайскими горами Ин-Шань до самой Китайской стены и южной границы Монголии.

В глинистых и каменистых пустынях Усть-Урта, на севере Кара-Кумов, терялся Урал.

Все четыре параллельных хребта пересекал, связывая их в остов материка Азии, самый мощный из меридиональных (мы еще не назвали его) — Болор. Наши карты не знают такого названия. Откуда взял его Гумбольдт? Это «Белоро» Марко Поло, горная страна «Полюля» китайских географов, находившаяся, однако, совсем не там, куда поместил ее Гумбольдт.

Болор Гумбольдта шел между Аралом и озером Балхаш, он начинался горами Ала-Тау и Кара-Тау, восточнее города Туркестана, и уходил на юг, мимо Ташкента, Намангана и Коканда, прямой, словно

проведенный по линейке, — слегка уклоняясь к востоку от меридиана, — до 32° широты. Но Гумбольдт был склонен связывать с Болором и индусские Гаты на юге и Урал на севере.

Так воскресал древний Имаус, поперечная горная стена через весь азиатский материк — от мыса Коморин в Индии до берегов Ледовитого океана. И там, где эта стена встречалась с хребтами, идущими по параллелям, получался особенно высокий взлет двух столкнувшихся волн, «горные узлы», которые Ватений, географ XVII века, называл пупами земли.

Пусть в прямолинейной геометрии этой схемы сохранялись отзвуки старых воззрений XVIII века о горах — скелете земли, о решетке гор, на которой держатся материки. Сам Гумбольдт помнил, конечно, со времен своего студенчества, геттингенского профессора Гаттерера, учившего, что есть горный экватор, горные параллели и меридианы...

Но вот что пишет о гумбольдтовском объяснении строения Азии И. В. Мушкетов, наш знаменитый геолог: «Гумбольдт разобрал и критически оценил громадный и далеко не полный материал, сумел построить из него ясную орографическую картину; он впервые указал границы Средней Азии и тем самым выяснил значение этого географического термина...», «Низменной степи между Алтаем, Уралом и Тянь-Шанем он впервые придал весьма удачное название Арало-Каспийской, или Туранской, низменности...», «Кроме того, он ввел новый и вполне научный метод определения высоты хребтов, высоты континентов. Словом, издав „Asie Gentrale“, Гумбольдт действительно дал основу, метод и направление исследователям Средней Азии»^[9].

Эта книга, смелая, глубокая и фантастическая в одно и то же время, знаменовала важнейший этап на пути действительного изучения Азии.

Во время своей быстрой и короткой поездки Гумбольдт сумел разглядеть то, чего не замечали не только в петербургских канцеляриях, но и чинуши на местах: необычайные естественные богатства Урала, может быть, единственные на земле в своей совокупности выходы редчайших и ценнейших минералов, неисчерпаемость рудных залежей, сокровища золотых россыпей, платины, алмазов — гигантское будущее этого края! Как он отстаивает потом против всех спорящих эти свои уральские алмазы! И насколько более прав он, по существу, в этих спорах, старый человек с непритупившейся зоркостью взора, с неутраченным лучшим человеческим даром — радоваться открытому людям «цветению» земли и верить в него, — насколько более прав он, чем скептики, его опровергавшие!

В «Центральной Азии» Гумбольдт пишет о вулканах на Тянь-Шане. «Новое объяснение китайских текстов» привело его к открытию извергающей пламя горы Бей-Шань, сольфатары Урумчи, вулкана Хо-Чжоу между Турфаном и Пичаном и горы Савры в Тарбагатае, выбрасывающей огонь, нашатырь, серу и селитру, которыми пользуются кочевые племена для приготовления пороха.

Эти вулканы пылали за тысячи километров от морских берегов. Они должны были пылать для Гумбольдта, ибо мог ли он представить себе могучую горную страну без всесильного огненного подземного мира?

По выражению замечательного геолога Г. Е. Шуровского (как раз в то время, когда выходила «Центральная Азия», тоже путешествовавшего по Уралу и Алтаю), Гумбольдт верил в эти азиатские вулканы так же крепко, как Колумб в свою Америку. Но что, помимо его теорий, привело его к этому географическому мифу? Тут было все: оренбургские беседы Генса, свидетельства

торопливых и недалеких купцов, видевших, вероятно, лесные пожары и зарева горящих выходов угля; тут были и старинные китайские летописи, изученные, истолкованные Гумбольдтом.

Как же далеко остался позади Фрейберг и «незабвенный учитель» Вернер, чистивший водичкой уютные, домашние ребрышки старой Земли!

Земля, вздувающаяся в одном месте, оседала гигантскими впадинами в соседних. Арало-Каспийская низменность была для Гумбольдта лишним подтверждением этого. «Невольно хочется верить, что образование этой впадины, этой обширной депрессии земной поверхности, находится в тесной связи с поднятием Кавказа, Гиндукуша и Персидского плоскогорья, ограничивающих с юга Каспийское море и Мавераннахр, а может быть, также и с поднятием большого массива, неопределенно и неправильно называемого Центральной Азией».

И, проезжая по этой бескрайней низменности, лежащей ниже уровня океана, Гумбольдт вообразил себя на дне «страны-кратера»-какого же, как круглые лунные цирки и загадочные огромные кратеры, которым астрономы дали имена Клавиуса, Шикара, Буссенго и Птоломея [\[10\]](#).

Земля Гога и Магога

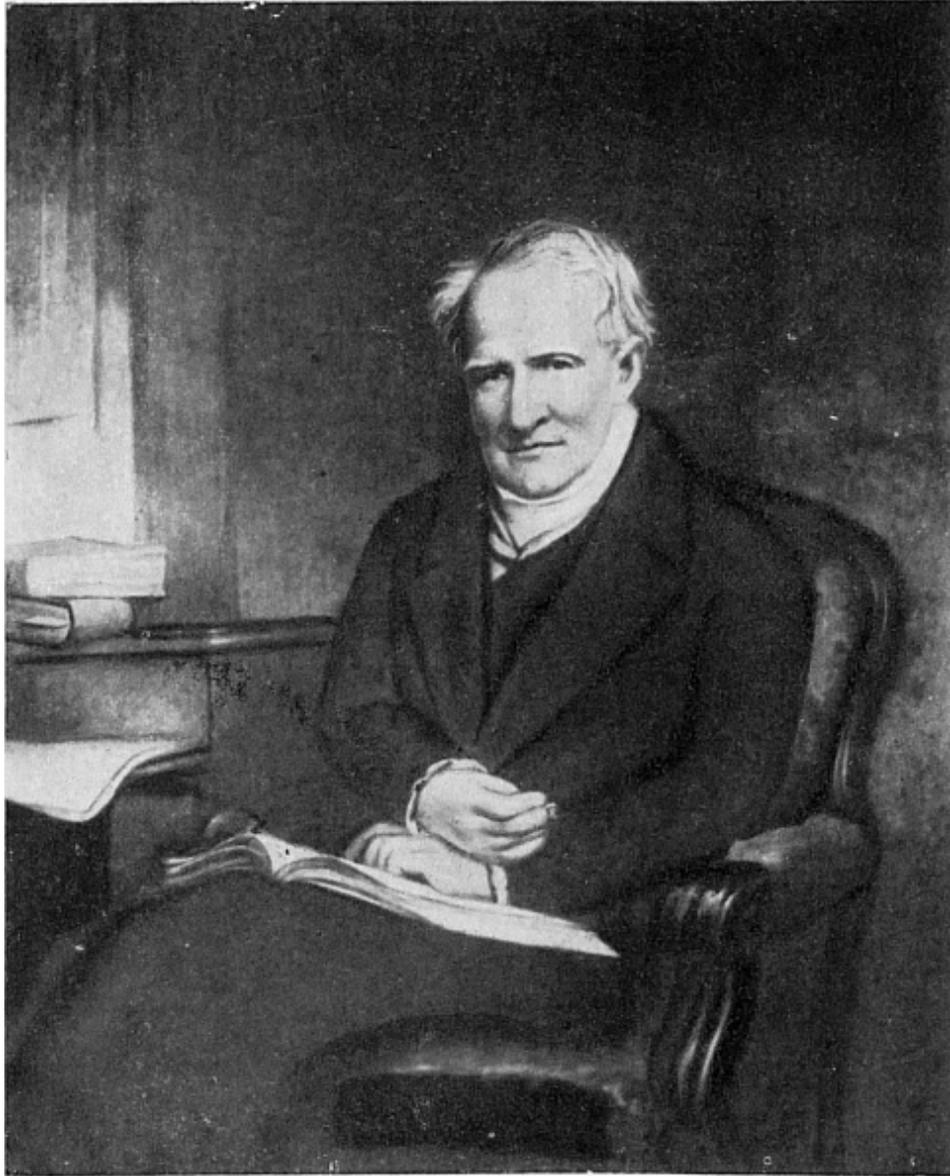
Седой человек сидит среди студентов в университетской аудитории. Он очень важен; грудь его в торжественные дни увешана звездами и орденами.



Вильгельм Гумбольдт.



Александр Гумбольдт в своей библиотеке в Берлине (1856).



Александр Гумбольдт в последние годы жизни.

Но, совсем забыв о своей важности, он сгибается над тетрадкой и, немного прищурив глаза, тщательно конспектирует лекцию. Он пишет быстро, прыгающими строками, невероятным почерком, — петли и крючки, которые он выводит, похожи на стенограмму.

Седого и важного человека знают все. Когда он входит, ему почтительно освобождают место — целую

скамью. Ведь это его превосходительство Александр фон Гумбольдт, друг короля и член академий всего мира.

Еще раз он, перед которым на студенческих скамьях сидел весь ученый мир его времени, решил сам стать студентом.

Он слушает лекции Бека по истории греческой литературы, Митчерлиха — по химии и своего друга Карла Риттера. Карл Риттер читает курс науки, название которой придумал сам: землеведение (Erdkunde). Сидя в своем кабинете в уютном кожаном кресле, он сочинял том за томом аккуратное географическое описание земли. На его столе лежала библия. Он описывал земной шар как дом, учрежденный божественным провидением для воспитания человечества. На кафедре он кажется пастором, поучающим паству возвышенными примерами величия и падения царств на вечной сцене мудрой и неизменной природы.

Гумбольдта несколько страшила методичность Риттера. Он знал, что ему, Гумбольдту, не хватает ее. Вот зачем он слушал Риттера.

Наука шла вперед, она то двигалась незаметно, крадучись, то неслась головокружительными скачками. И он бегом скорохода, работой без отдыха — днем и в бессонные ночи — еле поспевал за ней.

Когда его спрашивали, чего ищет он на университетских скамьях, среди розовощеких буршей, он отвечал:

— Хочу наверстать то, что упустил в юности.

Он говорил это шутливо, но это не было шуткой.

Мучительное беспокойство, в котором он боялся признаться самому себе, теперь постоянно жило в нем.

В эти годы он работал над «Космосом».

В нем он должен был, наконец, собрать самого себя, всю свою жизнь. Тут должно было быть рассказано все основное, что узнали люди о мире за все пять или шесть

тысяч лет своей истории. Подавляющие размеры этой задачи не раз заставляли его колебаться. Он был уверен, что, единственный из живых, только он может взяться за нее. И «Космос» станет оправданием и венцом всей его жизни.

«Дело моей жизни» — эти слова он написал (в письме к Варнгагену) в 1834 году. «Я имею безумное намерение изобразить весь материальный мир, все, что мы знаем о явлениях в небесных пространствах и на земном шаре, от туманных звезд до мхов на гранитных скалах, — изобразить все это в одной книге, написанной притом живым, действующим на чувство языком. Тут должна быть отмечена каждая великая и важная идея наряду с фактами. Книга должна показать эпохи в развитии человечества, в познании им природы. Я хотел сначала назвать ее „Книга природы“, как назвал свое сочинение Альберт Великий. Потом я выбрал „Космос“. Пусть в этом слове есть аффектация, но зато оно разом обозначает небо и землю».

Это должна была быть та Физика мира, о которой он мечтал еще до своего американского путешествия.

Удивительная, единственная в научной литературе книга, необычная уже по тому углу зрения, под которым трактуется в ней наука!

Здесь нет бойкого пера восторженного свидетеля-популяризатора, хотя основная цель «Космоса» — популяризация науки и синтез знаний. (Гумбольдт сам говорил, что он считает литературную задачу в «Космосе» равноправной с чисто научной.) Пишет не посторонний, не начетчик, не хранитель музея «Успехи науки», а хозяин науки.

Целый раздел посвящен вопросу о том, что побуждает человека изучать природу. За столетие, истекшее с тех пор, было много — и гораздо глубже, чем у Гумбольдта, — сказано о материальных причинах, которые привели к возникновению естественных наук, и

о методологии научного творчества. Но никто, кроме Гумбольдта, не дал истории наслаждения природой и философии чувства природы («Naturgefúhl»).

Страницы, посвященные этому во втором томе «Космоса», множество замечаний, рассыпанных по остальным томам, — это, пожалуй, наиболее лирически-интимное, что написано Гумбольдтом. Это ключ и объяснение ко всей его долгой жизни и ко всему его естественнонаучному универсализму. И достаточно прочесть этот раздел «О средствах, побуждающих к изучению природы», снабженный подзаголовком «Отражение внешнего мира на воображении», чтобы понять, что это и есть композиционная скрепа всех томов «Космоса», тот стержень, на котором он держится и благодаря которому стало возможно самое создание «Космоса».

Это исповедь Гумбольдта-исследователя.

Гумбольдт следит за возникновением и развитием чувства природы в течение всей истории человечества. Он дает историю и теорию описательной поэзии, пейзажа в литературе, ландшафтной живописи. Он пророчествует: живописи «предстоит подняться до нового, никогда не виданного великолепия, когда высокоодаренные художники станут чаще покидать тесные пределы Средиземного моря и получат возможность со всей первоначальной свежестью чистого молодого чувства схватывать многообразную природу влажных горных долин тропического мира».

«Средства, побуждающие к изучению природы»... С академической старательностью Гумбольдт разбирает и классифицирует их. Помимо средств искусства, это экзотические растения в оранжереях; Гумбольдт посвящает им строки поэтически вдохновенные. Он говорит о размещении растений, о пейзажах под стеклянной крышей. Он мечтает о новом искусстве — живописного (не по-садовничьи) разведения садов, о

повторении чужих ландшафтов у нас. Никто (и уж, конечно, никакой ботаник) не писал так об оранжерейном деле и не подходил так к нему.

Он говорит с восхищением о только что появившейся фотографии (дагерротипах), о панорамах и диорамах. «Движущиеся фигуры» ирландца Паркера «почти заменяют путешествия». «Зритель, как бы заключенный в волшебный круг, воображает себя окруженным чуждой природой. Эти картины оставляют воспоминания, которые, после многих лет, чудно и обманчиво перемешиваются в душе с действительно виденными сценами природы. До сих пор эти панорамы употреблялись для представления городских видов. Но какое впечатление произвели бы картины крутых склонов Гималаев и Кордильер или индийских и южноамериканских речных стран...»

Так он пишет. Ведь там, «на горах — свобода!». Снова он мог бы, он хотел бы повторить эти давно вылившиеся слова...

Он заключает: «Понимание и чувство величавой красоты мироздания были бы значительно умножены, если бы в больших городах построено было несколько круглых зданий, также для всех доступных, в которых сменялись бы ландшафты стран, лежащих под различными географическими широтами на разных высотах над уровнем моря».

Что бы он сказал о кино?!

Одно перечисление неведомых северянину названий доставляет Гумбольдту радость:

«В странах пальм и нежно-перистых древовидных папоротников ковшанки и ароматная ваниль делают словно одушевленными стволы анакардий и гигантских смоковниц. На яркой зелени драконников и глубоко вырезанных листьев арумов резко выделяются пестрые цветы орхидей. Цепкие баугинии, пассифлоры и желтоцветные банистерии, далеко и высоко поднимаясь

в воздухе, обвивают стволы деревьев первобытного леса...»

Он пишет почти языком поэмы:

«Каждый уголок земли — отблеск целого. Органические образы повторяются в беспрестанно новых соединениях. И ледяной север наслаждается в продолжение нескольких месяцев зелеными травами, альпийскими растениями с большими цветами и кроткой небесной синевой...»

Так о чем же он пишет? Может быть, о мальчике, который давным-давно, бесконечно давно смотрел на обомшелые башни Тегеля и замирал перед драконовым деревом в берлинской оранжерее, — сладкая тоска, жгучая «жажда дали» перехватывали ему дыхание... И, конечно, о зрелом, полном сил, счастливом человеке, который слушал, как звери празднуют полнолуние, и видел с высот Гуангамарки широкое и спокойное сверкание, дорогу солнца, уходившую к небу по необъятному простору океана...

В глубокой старости он утверждает: «Мгновения, когда впервые увидишь созвездие Южного Креста, Магеллановы облака, снега Чимборасо, столбы дыма над вулканами Кито и Тихий океан, — это эпохи в нашей жизни».

Необычайной силой своего воображения он видел их снова и снова.

Он достиг какой-то небывалой широты созерцания мира. Для него как будто больше не обязательно жить на узком лезвии настоящего момента. Настоящее входит в единый поток — от завершенного к наступающему. «Космос» проникнут чувством почти осязаемости истории.

«Под $52\frac{1}{2}^{\circ}$ северной широты Южный Крест перестал быть видимым за 2 900 лет до нашего летосчисления. Когда он исчез с горизонта прибалтийских стран, в Египте уже половину тысячелетия простояла большая

пирамида Хеопса. Пастушеский народ гиксосов вторгся в Египет на 700 лет позже. Древность как бы подступает к нам ближе, когда мы берем для нее меркой памятные события».

И даже само время как бы теперь теряет свою роковую необратимость!

Тома «Космоса» выходили медленно. Первый, об издании которого было объявлено еще в 1843 году, появился только в 1845, второй — в 1847, третий — в 1850, четвертый — в 1858 году. Работу над пятым, заключительным, оборвала смерть, отрывок его издал в 1862 году профессор Бушман.

«Космос» остался незавершенным, как и основное дело Гумбольдта — описание американского путешествия.

Гумбольдт колебался, переделывая по многу раз написанное, не доверяя своим силам. Ведь в «Космосе» он должен был подытожить не только самого себя, но и «почти устрашающее», как он выразился однажды, «расширение знаний» в XIX веке. Речь шла не только о расширении фактического познания. Изменялись основы объяснения мира. На место прежней шла другая наука.

Что они знают, что они узнали такого, чего не знает и не может понять он, Гумбольдт?

Вот, например, этот принцип сохранения энергии. О нем заговорили все. Заговорили в той науке, которую еще так недавно он считал своей, — и с беспокойством и досадой он пишет об «обманчивой надежде» подчинить строгой мере изменения в природе. Взаимные превращения тепла и работы кажутся ему хотя не невозможными, но все же окутанными плотным туманом «произвольных допущений».

Он не знает, что делать и с атомной теорией, которая ему представляется «образным выражением» и — еще резче — мифом.

Шестого ноября 1857 года он жалуется Дове на «беспокоящую» его «механическую теорию тепла».

В середине XIX столетия он продолжает по-прежнему измерять расстояния старофранцузскими туазами.

Новые тома «Космоса» он снабжает предисловиями, где неуверенно, с непривычной для него робостью защищается... От кого? Никто не нападает на него...

Иногда он утешает себя: все дело в возрасте. «Я другого поколения — старики не понимают молодежи». Он даже подтрунивает над своей старостью (юмор не покидает его). 26 октября 1851 года он пишет: «Это безмерная неосторожность в моем преадамическом возрасте говорить о новом томе». В 1857 году советует Дове: «Остерегайтесь так неправдоподобно состариться».

И разъясняет: «Берегитесь прожить так долго.

Слава растет вместе с ослаблением сил, и роль „дорогого юноши-старика“, достойного старейшины всех живущих ученых, *Vecchio della montagna*, — несносная роль».

Про себя он все-таки оценивает свой «Космос» очень высоко. Когда Н. Г. Фролов, энтузиаст и поклонник Гумбольдта (благодаря Фролову «Космос» и стал доступен русскому читателю), снабдил свой перевод первых томов иллюстрациями и очень грамотными примечаниями, действительно облегчающими чтение этой довольно трудной и тяжеловесной книги, Гумбольдт раздраженно написал Варнгагену: «Я советовал г. Фролову не вставлять, якобы для облегчения понимания, массы объяснений и рисунков; но это было напрасным. Он хотел невозможного и, кажется, мало вникал в форму композиции; обо всем этом я, впрочем, ничего не скажу ему. Ублюдкам никогда не везет в литературе».

Но, не решаясь высказать этого, он, несомненно, догадывается, что дело не только в возрасте. Почему не критикуют его? Может быть, только потому, что в нем щадят «величайшую славу века»?

Он должен получить ответ на этот вопрос!

И вот, как некогда при издании «Путешествия», он хочет привлечь ученый мир к участию в работе над «Космосом» и к оценке ее.

Он обращается к лингвистам, историкам литературы, химикам, астрономам. Математики должны проделывать еще раз все вычисления его — «допотопного, плохо считающего человека». Он редко удовлетворяется отзывом одного специалиста; главы идут иногда к двум, трем, четырем редакторам. Часто, получив рукопись с замечаниями, он находит, что они сделаны недостаточно тщательно, и глубокой ночью отсылает листы назад для вторичного просмотра, повторяя злым присловьем своевольно переиначенный стих из старой, времен своего детства, баллады Бюргера «Ленора»: «Мертвецы и старики ездят быстро».

Он налегает на свой старый дипломатический талант. В письме к религиозному профессору вставляет несколько слов о боге и церкви. «Есть три великих поэта, — пишет он Тику, — и ваше место — между Гёте и Шиллером».

Но вряд ли он принял бы сколько-нибудь серьезные поправки к тому, что в его сознании и воображении уже отлилось в нерушимую форму.

На закате жизни в четвертом томе «Космоса» он упрямой рукой записывает:

«Когда же, наконец, ученые путешественники отправятся для изучения вулканического хребта Тянь-Шаня и для решения вопроса, нет ли связи между извержениями Бей-Шаня и Турфана и баснословной землей Гога и Магога, где на дне реки Эл-Махер горят вечные огни?»

Так он сам сказал это слово. Его азиатские вулканы были в сказочной стране Гога и Магога.

В феврале 1857 года, после дворцового бала, Гумбольдт упал без сознания. Это был удар. Врач Шенлейн сказал королю, навестившему больного, что Гумбольдт вряд ли будет свободно владеть левой половиной тела.

Однако он поправился.

10 октября умер последний друг Гумбольдта — Варнгаген фон Энзе. «Какой день потрясений, скорби и бедствия!.. Он умер раньше, чем я, девяностолетний старик».

Постоянно он повторял слова, сказанные им впервые шестнадцать лет назад, о смутном, тяжелом закате жизни, посланном ему небом.

Счастье!.. Он был богат, приближен к королям, осыпан почестями, возвеличен такой славой, памяти о которой, как твердили все окружающие его, не сотрут века. Жизнь его была долгим, непрерывным исполнением желаний; он словно родился в той рубашке, которую тщетно искали герои сказок. И мог бы сказать, что ему, как некогда Поликрату, рыбы торопятся возратить брошенный в море перстень.

Странное, жестокое древнее сказание — теперь оно не раз приходит на ум Гумбольдту. Поликрат Самосский сам испугался своего чудесного счастья, своей вечной удачи. Чтобы «откупиться» у судьбы, он кинул в волны драгоценный перстень. Но его нашли в желудке рыбы, принесенной рыбаком во дворец. Судьба не приняла выкупа. Правитель Самоса погиб страшной, мучительной смертью. И это была расплата.

Так в чем же оно, счастье? Гумбольдт вспомнил о старом меднолицем приоре из монастыря в Карипе, нашедшем в куске мяса свое блаженство, плотоядное, убогое и недостойное зависти; об индейце, нищета которого была так богата, что всех сокровищ мира не

хватило бы, чтобы помешать ему карабкаться ради простой игры — за опоссумом; о сыне кацика Асторпилько, равнодушно идущем в лохмотьях на смуглом и стройном теле мимо подземного золота Атахуальпы; и о белом городе с заборами из кактусов, с быстрой речкой и зелеными горами, городе, похожем на детский рисунок, где молодой человек, так схожий и так не схожий с ним, теперешним Гумбольдтом, записал еще твердым, круглым, красивым почерком: «Я чувствую, что здесь буду счастлив...»

Снова и снова он перечитывает четверостишие брата Вильгельма, два элегических дистиха, где говорится, что тот глубже и полнее всех почерпнул из источника жизни, кто увидел, сравнил, открытым умом и пылающей грудью воспринял больше всего образов земли.

Его ум был открыт, сердце билось сильно. Но вокруг него зияла пустота.

Он прошел по земле один, не зная семьи, любви, детей и внуков. Его «система жить» — вот когда она отомстила за себя! Кому из тех людей, с кем он сам связал себя, было дело до него, до того, что он думал, что видел, что нашел в своей науке? Королю, для которого он был щекочущей самолюбие забавой, остроумнейшим среди царедворцев? Аристократам, до сих пор ненавидевшим в нем «трехцветный лоскут»? Быть может, профессорам, доцентам, берлинским королевским академикам? Но ведь они сами, в своих долгополых мундирах, загнаны в норы — одинокие, трудолюбивые кроты, каждый за себя.

В эти годы он часто думал об Эме Бонплане, друге и спутнике по американскому путешествию, смело вернувшемся в те места, памятью о которых Гумбольдт жил вот уже пятьдесят лет.

Изредка Бонплан писал. И вот до Гумбольдта дошло известие о конце Бонплана.

В апреле 1858 года профессор Аве-Лаллеман, приготовившийся стать биографом Гумбольдта, посетил Бонплана в Санта-Анне. Ему указали ранчо «дона Амадо». Трава росла на стенах полуразрушенных амбаров. Бонплан вышел в деревянных сандалиях на босу ногу. Грудь, плохо прикрытая грязным тряпьем, заросла седыми космами. Из дому визгливым голосом что-то ему крикнула рослая дочь, похожая на мулатку.

С хмурым недоброжелательством Бонплан смотрел на гостя. Когда было произнесено имя Гумбольдта, Бонплан, мешая испанские и французские слова, проговорил, что этот человек присвоил его открытия. Все же он передал привет Гумбольдту.

Бонплан попробовал подписать свое имя по просьбе Аве-Лаллемана и проткнул пером бумагу. Он повторил попытку. На бумаге остались нацарапанные каракули.

Бонплан умер 11 мая 1858 года.

Последние семнадцать лет Гумбольдт жил в доме № 67 по Ораниенбургской улице, принадлежавшем банкиру Мендельсону. Он не расставался с камердинером Зейфертом. Король, по просьбе Гумбольдта, пожаловал Зейферту звание кастеллана. Через комнату, где стояли чучела птиц, рыб, банки с заспиртованными морскими животными, физические инструменты и висели картины — тропические ландшафты, Зейферт вводил допущенных им посетителей; в библиотеку, а оттуда в приемную.

Американский журналист-путешественник Байард Тейлор, посетивший Гумбольдта, подробно описал 25 ноября 1856 года в «Нью-Йорк трибюн» свой визит: «Я приехал в Берлин не ради музеев и галерей, улицы Подлипами, театров и пестрой суеты салонов, но чтобы увидеть величайшего ныне живущего человека».

По городской почте Гумбольдт назначил ему прийти в час дня. Дом на Ораниенбургштрассе был выкрашен в мясной цвет. На наружной двери висела дощечка с

именем только Зейферта. И, лишь позвонив и поднявшись по лестнице, он прочел: «Александр Гумбольдт». Зейферт провел его в приемную. Гумбольдт вошел. Он спросил, должны ли они говорить по-английски или по-немецки.

— Ваше письмо — письмо совершенного немца, но я достаточно привык и к английскому.

Он казался много моложе своих восьмидесяти семи лет. Волосы его были серебристо-белые, но очень густые. Он усадил гостя на софу, а сам сел на стул.

Но он не мог усидеть больше десяти минут. Он вскакивал, ходил по комнате, открывал книги, показывал картины.

Заговорили о последних работах Гумбольдта. «Я сплю четыре часа из двадцати четырех», — улыбаясь, сказал он. И добавил: «Лучший рецепт долголетия — это путешествия. Ничто так не укрепляет здоровья, как лишения долгого и трудного пути».

Потом он сказал:

— А все-таки я думаю, что Чимборасо — самая прекрасная и наиболее замечательная гора на свете.

Хамелеон, живший в клетке, открыл круглый глаз и посмотрел на собеседников.

— У этого зверя, — заметил Гумбольдт, — изумительное свойство. Он может в одно и то же время смотреть в разные стороны: одним глазом на небо, другим на землю. Впрочем, есть многие служители церкви, которые могут то же.

«Он думает, как и говорит, — записывает Тейлор, — без труда и утомления».

Но вошел Зейферт и провозгласил:

— Уже время!

Гумбольдт встал.

— Вы странствовали по свету, — сказал он, — и видели немало руин. Вот перед вами еще одна...

— Не руина, а пирамида! — ответил Байард Тейлор.

«Я пожал руку, которая жала руки Фридриха Великого, Форстера, Клопштока, Шиллера, Питта, Наполеона, Жозефины, маршалов империи, Джефферсона, Гамильтона, Виланда, Гердера, Гёте, Кювье, Лапласа, Гей-Люссака, Бетховена и Вальтера Скотта...»

Маленькая рука этого старика как бы связывала два века.

В 1858 году Генрих Кениг посвятил Гумбольдту свою биографию Георга Форстера. Он жадно читает ее: образ гражданина французской революции, умершего давным-давно, опять встает перед Гумбольдтом на его одиноком закате. И в длинном письме Кенигу (от 28 июля 1858 года) он проводит прихотливые параллели между собой и Форстером.

«Как благодарен я вам! Ваша книга о моем ушедшем в вечность друге заняла у меня две ночи, — в две ночи я прочел ее, страница за страницей. Вот уже 30 лет я знаю только ночные досуги. Эти две ночи я был счастлив и тосковал. Образы и воспоминания, теперь все быстрее исчезающие во мне, ожили снова. Я думал о странных сходствах и контрастах жизни моей и Форстера. Одинаковое направление наших политических мыслей (так, спустя 70 лет, хотелось думать Гумбольдту)... Рассказы о Южном море, которое видели мы оба... Наше совместное пребывание в Лондоне, где тогда жила еще вдова Кука и сэр Джозеф Банкс обласкал меня, 21-летнего юношу. Я посетил тот же берег у Самары, откуда старик Форстер послал Линнею в Упсалу колосья так странно одичавшей пшеницы, — я — в 1828 году, Рейнгольд Форстер с Георгом, ребенком, — в 1765, за 4 года до того, как я родился. Император Александр приглашал меня во внутреннюю Азию — точно так же, как Екатерина приглашала Георга Форстера в кругосветное плавание, — и обе экспедиции не

состоялись из-за войны — одна с французами, другая с турками...»

Гумбольдта посетила русская поэтесса Каролина Павлова, которую он пригласил к себе, будучи в России.

— Видите, не очень скоро, но я все-таки приехала к вам, — сказала она.

— Я дождался вас, — галантно ответил Гумбольдт. — Вы должны оценить мою любезность. Другой бы на моем месте давно умер.

Наступил 1859 год.

На письменном столе у Карла Маркса лежала законченная рукопись «К критике политической экономии».

Линнеевское общество уже заслушало сообщение Дарвина о законе эволюции живых существ.

Экспрессы на железных дорогах мчались со скоростью семидесяти километров в час. Телеграф в несколько мгновений переносил известия из конца в конец земли.

Совсем близко, в Гейдельберге, собрался кружок передовой русской молодежи. Магистр химии Менделеев встретился там с другом — Иваном Михайловичем Сеченовым.

В Петербурге шестнадцатилетний юноша Климент Тимирязев уже своим трудом пробивал дорогу в жизни; он знал, что и науку ему тоже предстоит «брать с бою». Но одну руководительницу он признавал и всегда будет признавать до конца дней — «безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной, неправде».

Учился, был вожаком всех «гороδοшников» и с неистовой жадностью читал свои первые книги рязанский мальчишка Павлов; пройдут быстрые годы — и весь мир будет звать его по имени-отчеству — так, как зовут его на родине, на русской земле: Иван Петрович.

А в доме на Ораниенбургштрассе, где давно уже не менялось ничего и все было наполнено прошлым, по-прежнему толпились посетители. Почта за прошлый год доставила две тысячи писем. Иные начинались так: «О благородный юноша-старик!» Или: «Каролина и я счастливы: наша судьба в ваших руках».

Просили денег, рекомендации, автографа, предлагали услуги секретаря, компаньона, чтеца, присылали проекты воздухоплавательных машин. Некие дамы обличали его вольнодумство и увещевали обратиться к Христу. Однажды пришел роман «Сын Александра Гумбольдта, или индеец из Майпурес». Автор развязно просил одобрения!

2 марта 1859 года Гумбольдт напечатал в берлинских газетах просьбу не обращать его дом в адресную контору и подумать о том, что девяностолетний старик не в силах отвечать на потоки надежд, излияний, просьб, проектов и восторгов.

В конце апреля он простудился и заболел. Он почти не страдал. Сознание оставалось ясным. Только нарастала слабость, дыхание становилось короче и прерывистее; все более овладевала им дремота. О его болезни печатались бюллетени. Берлинский почтамт принимал сотни телеграмм с запросами о Гумбольдте.

В 2 часа 30 минут дня 6 мая 1859 года он заснул, чтобы больше не просыпаться.

На его столе нашли трижды повторенную запись на клочках бумаги: «Так были завершены небо и земля со всеми их сонмами».

Гроб стоял на возвышении в его рабочем кабинете, среди пальм и тропических растений, таких же, как изображенные на картинах, висевших по стенам.

Похоронили Гумбольдта с королевскими почестями.

Свою огромную библиотеку, мебель и картины он завещал Зейферту; денег же не осталось.

1936, 1954-1955

Основные даты жизни и деятельности

1720 — Родился простым бюргером Александр Георг Гумбольдт — отец братьев Вильгельма и Александра: лишь в 1738 году получил наследственное дворянство отец Александра Георга (дед братьев Гумбольдт) Иоганн Пауль. Род Гумбольдтов восходит к скорняку Гансу Гумпольту, жившему в XVI веке.

1741 — Мария Элизабет фон Коломб, мать братьев Гумбольдт, родилась в семье, происходящей по отцовской линии из Франции, а по материнской — из Шотландии и уже около шестидесяти лет натурализовавшейся в Германии.

1766 — Женитьба майора и камергера Александра Георга Гумбольдта на Марии Элизабет фон Коломб, богатой вдове барона фон Гольведе, от которого у нее сын Гольведе (1762-1817).

1767, 22 июня — Родился в Потсдаме Вильгельм Христиан Карл Фердинанд — Вильгельм Гумбольдт.

1769, 14 сентября — В Берлине, на Егерштрассе 22, родился Фридрих Вильгельм Генрих Александр — Александр Гумбольдт.

1777 — Кунт становится в Тегеле воспитателем (четвертым по счету) братьев Гумбольдт (до него были Кампе, Кобланк и Ключенер).

1779, 6 января — Смерть отца, Александра Георга Гумбольдта.

1783 — Кунт со своими питомцами поселяется в Берлине, с редкими выездами в Тегель. Заводит гимназию на дому.

1785-1786 — В доме молодого аристократа графа фон Арнима Гумбольдты слушают лекции его педагогов, известнейших ученых того времени, по философии,

экономике, естественному праву, классической филологии. Посещают салон Генриэтты Герц (1764-1874), жены врача Маркуса Герца (1747-1803).

1787, 1 октября — Александр с братом Вильгельмом, в сопровождении Кунта, едет во Франкфурт-на-Одере, чтобы поступить на камеральный факультет тамошнего университета (в Берлине университета еще нет).

1789, апрель — март 1790 — Геттинген — второй университет Александра Гумбольдта. Знакомство братьев Гумбольдт с Георгом Форстером (1754-1794). Поездка в западные немецкие земли. «Минералогические наблюдения над некоторыми рейнскими базальтами».

1790, апрель — июнь — Поездка с Георгом Форстером по Рейну, затем через Голландию в Англию, а оттуда в революционный Париж.

1790-1791 — В Гамбурге. Торговая академия.

1791, июнь — февраль 1792 — У Вернера во Фрейбергской горной академии. «Подземная флора Фрейберга» (напечатано в 1793 году).

1792-1796 — Штебенский обербергмейстер. Встречи с Гёте и Шиллером в Иене. «Родосский гений» и отказ от него: Гумбольдт развязывает «гордиев узел» жизненных явлений. Поездка в Швейцарию и северную Италию, с министром Гарденбергом во Франкфурт-на-Майне, где идут переговоры держав антифранцузской коалиции (Англия, Голландия, Пруссия — 1794). Дипломатическая поездка в главную квартиру французских войск (июль — август 1796).

1796, 14 ноября — Смерть от рака груди матери, Элизабет Гумбольдт.

1797-1798 — В Иене с Вильгельмом, Гёте и Шиллером. Анатомические занятия с профессором Юстусом Христианом Лодером (1753-1832). Неудачная попытка поехать в Италию, охваченную войной. Вена. Зимовка в Зальцбурге с товарищем по Фрейбергу,

будущим главой вулканистов, Леопольдом Бухом (1774-1853). Планы экспедиции в Египет.

1798, 15 мая — 20 октября — В Париже. Проекты ехать «к южному полюсу» со знаменитым мореплавателем Луи Антуаном Бугенвиллем (1729-1811), плыть кругом света с Боденом Встреча с молодым (род. 1773) врачом, сыном хирурга из Ла Рошели, Эме Бонпланом. Отъезд в Марсель, чтобы перебраться в Африку.

1798, конец декабря — начало февраля 1799 — Гумбольдт и Бонплан добираются до Мадрида. Попутные геодезические, геологические наблюдения; сбор растений; подъем на Монсеррат (в Каталонии).

1799, 5 июня — Фрегат «Пизарро» покидает Корунью. В письме первого министра Уркихо Бонплан назван слугой Гумбольдта.

1799, 19-25 июня — Пребывание на острове Тенерифе. В Оротаве Гумбольдт осматривает знаменитое драконово дерево. Восхождение на пик Тейде.

1799, 16 июля — Высадка в Кумане (нынешняя Венесуэла).

1799, 4 ноября — Гумбольдт — свидетель землетрясения.

1799, 12 ноября — Наблюдает гигантский дождь падающих звезд.

1800; 6-27 марта — Путь через льяносы. Гумбольдт наблюдает электрических угрей.

1800, 30 марта — Отплытие из Сан Фернандо де Апуре во внутренние неисследованные области страны.

1800, 20 мая — По Касикьяре Гумбольдт вернулся в Ориноко, доказав тем самым соединение двух великих рек Южной Америки.

Конец 1800 — март 1801 — На Кубе.

1801 — Плавание по реке Магдалене. Горными дорогами в Боготу.

1802, 6 января — Гумбольдт в Кито.

1802, 23 июня — Восхождение на Чимборасо.

1802, вторая половина — Исследование верховьев Амазонки. В горах и долинах Перу. Лима.

1802, 5 декабря — Отплытие из перуанской гавани Каллао на север вдоль побережья. Исследование холодного течения, позднее названного Гумбольдтовым.

1803, 23 марта — Прибытие в Акапулько (Мексика).

1804, 7 марта — Из Веракруса снова на Кубу.

1804, 19 мая — В Филадельфии.

1804, 9 июля — Домой, в Европу.

1804, 3 августа — Путешествие закончено. Гумбольдт и Бонплан высаживаются в Бордо с 35 ящиками коллекций.

1805 — Поездка из Парижа в Италию к брату Вильгельму. Восхождение на Везувий с Леопольдом Бухом и Гей-Люссаком.

1805, ноябрь — июль 1808 — В Берлине — «человеческой пустыне». Первоначально с Гей-Люссаком и на короткий срок с Бонпланом. «Картины природы».

1808–1827 — В Париже, с редкими выездами в Вену, в Лондон, в Аахен, в Берлин и Тегель, в Италию; трижды снова поднимается на Везувий (1822).

1827, 12 мая — Гумбольдт переселяется в Берлин.

1827, 3 ноября — 23 апреля 1828 — Читает в Берлинском университете 61 публичную лекцию о вселенной, о космосе, о Земле и цикл из 16 лекций в Певческой академии (первая лекция — 6 декабря). «Озаряющий весь мир сверкающими лучами».

1828, 18 сентября — Гумбольдт, президент общенемецкого съезда естествоиспытателей и врачей, произносит знаменитую вступительную речь об общей науке в общем отечестве немцев.

1829, 12 апреля — Начало русского путешествия. Гумбольдт выезжает из Берлина в Петербург в сопровождении камердинера Зейферта и двух молодых

профессоров — натуралиста Христиана Готфрида Эренберга (1795–1876) и минералога Густава Розе (1798–1873).

1829, 1 мая — Прибытие в Петербург.

1829, 29 апреля/11 мая^[11] — Присутствует на заседании Академии наук.

1829, 8/20 мая — Отъезд в Москву.

1829, 12/24 — 16/28 мая — В Москве.

1829, с 3/15 июня — В Екатеринбурге. Осмотр заводов вблизи города, а также Полевского, Гумешевского рудников, золотых приисков. Нижнетагильские заводы Демидовых, где, возможно, Гумбольдт встречался с Черепановыми. Гора Благодать. Вечная мерзлота в Богословске.

1829, 28 июня/10 июля — В Тобольске. «Я с юных лет мечтал об Иртыше».

1829, 21 июля/2 августа — Прибытие в Барнаул. Ездит на Колыванское озеро, в Риддер; в недрах Змеиной горы — колоссальные вододействующие машины Козьмы Фролова.

1829, 5/17 августа — У форпоста Красные Ярki пересекает границу России, но от первого китайского поста возвращается обратно.

1829, 15/27 августа — В Омске.

1829, 26 августа/7 сентября — Гумбольдт в Златоусте.

1829, 2/14 сентября — В Миассе, в день своего шестидесятилетия Гумбольдт получает в подарок саблю аносовского булата.

1829, 9/21 сентября — В Оренбурге.

1829, 1/13 октября — Астрахань. «Я не могу умереть, не увидев Каспийского моря».

1829, 26 октября/7 ноября — Чествование Гумбольдта Московским обществом испытателей природы, сатирически описанное Герценом.

1829, 1/13 ноября — Гумбольдт в Петербурге.

1829, 16/28 ноября — Чрезвычайное собрание Академии наук в честь Гумбольдта.

1829, 15 декабря — Конец русского путешествия. Отъезд в Германию.

1829, 28 декабря — Возвращение в Берлин.

1830-1832 — Снова два года в Париже. Все еще продолжается издание томов американского путешествия.

1832, 22 марта — Умер Гёте.

1834 — Выходит тридцатый том материалов американского путешествия. Полное заглавие этого главного труда Гумбольдта: «Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau continent fait en 1799-1804 par Al. de Humboldt et Aime Bonpland, redige par Al. de Humboldt.» Grande edition. P. 1807-1834.

1835, 8 апреля — В Тегеле умирает брат, Вильгельм Гумбольдт.

1843-1844 — «Центральная Азия», в 3-х томах (на французском языке).

1845 — Первый том «Космоса» — «дела жизни» Гумбольдта.

1847 — Второй том «Космоса».

1847, осень — январь 1848 — Последний раз в Париже.

1850 — Третий том «Космоса».

1856, ноябрь — Байард Тейлор у Гумбольдта. «Не руина, а пирамида!»

1858 — Четвертый том «Космоса».

1858, 11 мая — Смерть Эме Бонплана в Южной Америке, в Сан-та-Анне.

1858, 1 июля — В Линнеевском обществе в Лондоне доложены сообщения Дарвина и Уоллеса о роли естественного отбора в эволюции.

1859, 6 мая — В Берлине, в доме № 67 по Ораниенбургштрассе умер Александр Гумбольдт.

1859, 24 ноября — Выход в свет «Происхождения видов» Дарвина. Весь тираж (1 250 экземпляров) разошелся в один день.

Некоторые дополнительные пояснения

Альберт Великий (собственно, Больштедт, 1207? — 1280) — немецкий схоласт, богослов, ученый. В годы, когда он учился в доминиканской школе в Кельне, закладывали фундамент знаменитого собора. Епископствовал, читал в университете (в Париже) — будто бы слушателей его не могла вместить никакая аудитория. Число писаний Альберта громадно. Он был одним из удивительных людей-«энциклопедий», которые стремились охватить все. Поэтому Гумбольдт, завершитель ряда естествоиспытателей-энциклопедистов, ссылается на «Книгу природы» Альберта. Но если древний Аристотель создал свод наук, настолько замечательный, что больше чем полтора тысячелетия человечество считалось с ним, либо слепо преклоняясь, либо борясь с Аристотелем, если наш Ломоносов, «первый русский университет», своими руками строил новую науку, пролагая десятки путей для нее, если Гумбольдт, кого называли «Аристотелем XIX столетия», подвел исполинский итог и дал неведомый до того синтез всем знаниям о Земле, — то Альберт Больштедт оставался в рамках феодально-богословской схоластики, мистической и реакционной, «исследовал» ангелов и демонов, и инквизиторы-изуверы пытали и сжигали «ведьм», ссылаясь на книги Альберта.

Араго Доминик Франсуа (1786–1853) — астроном, директор Парижской обсерватории, человек кипучей энергии, был зачинателем и организатором ряда научных мероприятий — анализа неправильностей движения Урана (так был открыт Нептун), измерения скорости света, фотографирования Солнца. Он измерял градусы меридиана (продолжив работу Деламбра) и

блеск звезд. Исследовал земной магнетизм и, соорудив полярископ, сделал открытия в области поляризации света. Наблюдал затмения, кометы, составлял звездный каталог, занимался физической географией. И при всем том блестяще писал о науке — популярные книги Араго долго читались во всем мире. Избранный в палату депутатов, примкнул к умеренно-республиканской оппозиции. Гумбольдт близко сошелся с Араго.

Базедов Иоганн Бернгард (1723-1790) — немецкий педагог, характерная фигура «века Руссо». Сын парикмахера, гувернер в частных домах, профессор морали в Рыцарской академии, автор книг о новых принципах воспитания — принципы это он и применил в своем Филантропине в Дессау, в этой недолго просуществовавшей школе, откуда «богатые должны были выходить людьми, а бедные — учителями».

Бертолле Клод Луи (1748-1822) — французский химик. Вместе с Лавуазье участвовал в разработке новой химической номенклатуры. В 1789 году — год французской революции — основан при близком его участии журнал «Анналы химии», существующий и сейчас. Бертолле начал настойчиво, систематически изучать условия действия веществ во время химической реакции, с точным учетом меры и веса. Отпадали старые метафизические представления, закладывались основы новой химии. Он был в числе учредителей и первых профессоров крупнейших учебных заведений (Нормальная, Политехническая школы). Добился резкого увеличения выпуска военных материалов, селитры, стали, необходимых для защиты молодой республики, и сам руководил производством.

Бюффон Жорж-Луи Леклерк (1707-1788) — маркиз, богач, естествоиспытатель-энтузиаст. Тридцать шесть написанных им томов «Естественной истории» (он не успел ее закончить), «Теория Земли» и особенно «Эпохи природы» производили громадное впечатление на

современников «всеохватностью» (все эпохи Земли и жизнь на ней), смелостью, подчас фантастичностью мысли (постепенно иссякающая производящая сила Земли), яркостью картин и блеском изложения — это всегда не просто трактат, но прежде всего литература. «Прекраснейшее перо века», — сказал о Бюффоне Руссо, а выражение «стиль — это человек» принадлежит самому Бюффону. Бюффон сознательно противопоставил свой способ научного мышления и изложения скрупулезно-методической науке великого систематика Линнея. Системы вообще у Бюффона меньше, чем остроумных гипотез, которыми его живой ум разрубал «гордые узлы». Однако клерикалы и реакционеры, травившие Бюффона, ясно усмотрели в его книгах спор с феодально-библейским мировоззрением, гимн разуму, мысли материалиста. Бюффон — тоже один из идейных предтеч близящейся революции, и без него не представить себе век Просвещения.

Виланд Кристоф Мартин (1733-1813) — немецкий писатель и поэт, старший современник Гёте, с которым был близок. Была широко известна его поэма «Оберон». Издавал журнал «Немецкий Меркурий».

Вольф Христиан (1679-1754) — философский диктатор феодальной Германии. Реакционная метафизика Вольфа была призвана всячески защищать существующий порядок вещей — строй, уклад жизни, религию. Ни в чем нет никаких противоречий, все существует навечно. Сущность «плоской вольфовской телеологии», по словам Энгельса, заключалась в том, что «кошки были созданы, чтобы пожирать мышей, мыши — чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказать мудрость творца».

Гамильтон Вильям (1788-1856) — видный в свое время философ-идеалист, профессор логики и метафизики в Эдинбурге.

Геогнозия — так Вернер начал в 1780 году называть геологию. Со второй половины XIX века вернеровский термин вышел из употребления.

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — писатель, критик, проповедник. Боролся с мертвенным космополитизмом ложноклассицизма, учил о национальном характере литературы, о естественной основе поэзии — народном творчестве, — так, он оказал значительное влияние на развитие настоящей литературы, на молодого Гёте, на романтиков. Но «народность» у Гердера окрашивалась и в феодальные и в религиозные тона. Выпустил знаменитый сборник «Голоса народов» — песни разных народов.

Геснер Конрад (1516–1565). Три века прошло со времен Альберта Большштедта. В Лозанне и Цюрихе профессорствует, учит греческому языку, читает естествознание, учреждает музей, ботанический сад, издает литературные обзоры — как бы путеводители в океане книг — и врачует Геснер, сын бедного скорняка. Он борется с эпидемией чумы, нагрянувшей на Швейцарию, и сам падает ее жертвой. Книги его стремятся охватить весь живой мир — Геснер тоже живая энциклопедия. Но, следуя еще во многом Аристотелю, Геснер уже не оглядывается на него на каждом шагу. Он пишет пять томов «Истории животных», описывает, помещает рисунки, классифицирует 1 500 растений. Это сумма всех знаний той эпохи, повторение многих рассказов, но и немало нового, острой наблюдательности, стремления к точности, неизвестной до того, порядку, системе. Без Геснера позже не был бы возможен Линней.

Гофрат («придворный советник») — в царской России этому соответствовал надворный советник, гражданский чин, равный подполковнику на военной службе.

Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772–1884) — французский зоолог. Изучение уродств показало ему,

что возможны внезапные отклонения в строении животных. Сравнительная анатомия, где он сделал крупнейшие открытия, убедила, что существует единство строения внутри каждого класса животных. А между классами? Больше того — между типами? Например, между позвоночными и членистоногими, скажем, насекомыми? Или головоногими моллюсками — скажем, спрутами? И Жоффруа стал отыскивать единый план строения животных. Единство строения означало и единство происхождения. Животных изменяло прямое влияние изменяющейся среды: среда всемогуща. Так Жоффруа следом за Ламарком выдвинул одну из первых научных теорий эволюции. Но у него еще не обошлось без домыслов и натяжек. В знаменитом споре 1830 года о плане строения животных между Жоффруа и Жоржем Кювье (Гёте с напряженным вниманием следил за этим спором, считая его важнейшим событием современности) победил Кювье (1769–1832), палеонтолог, зоолог, анатом, виртуоз скальпеля. Кювье резко отвергал всякую теорию эволюции, заменяя ее фантастикой «переворотов», катастроф на Земле, но требовал безукоризненной точности в работе естествоиспытателя. «Называть, классифицировать, описывать» — и никаких дерзновенных обобщений: лозунг Кювье — лозунг биолога-эмпирика, агностика-«незнайки». Если к Жоффруа, в известном смысле, вела линия от Бюффона, то к Кювье — от Линнея. Торжество Кювье на несколько десятилетий задержало победу эволюционной идеи в биологии и, возможно, побудило Дарвина надолго отложить опубликование своих гениальных мыслей, — пока в «Происхождении видов», напечатанном лишь в 1859 году, всякое обобщение не оказалось следствием подавляющей массы безукоризненно взвешенных фактов. Тут были соблюдены и все требования Кювье — таким образом он сам, помимо своей воли, также

подготавливал почву для подлинно научной теории развития живых существ.

Жюссье — замечательная семья французских ботаников. Бернар Жюссье (1699–1777) высаживает растения на грядках трианонского ботанического сада не по искусственной линнеевой, но по естественной системе — Руссо восторженно пропагандирует ее. Племянник Бернара — Антуан Лоран Жюссье (1748–1836) вскоре разработает ее еще подробнее: надо принимать во внимание совокупность признаков растений, тогда они естественно распределятся по группам сходства (слово «родство», которое и сделает систему подлинно естественной и которое означает признание развития, эволюции, — Жюссье еще не решаются произнести).

Кампе Иоахим Генрих (1746–1818). Связь его с Гумбольдтами не оборвалась и после краткого гувернерства, о точном времени которого спорят: некоторые думают, что было это в 1775 году или что его дважды приглашали к Гумбольдтам. Он работал с Базедовым в Филантропине (в 1776 году), затем основал свою школу, подобную Филантропину, в Гамбурге (в 1777 году); два года спустя выходит его «Робинзон» — тотчас книгу Кампе переводят в нескольких странах, мальчик Александр Гумбольдт зачитывается ею. Летом 1789 года Кампе едет с Вильгельмом Гумбольдтом в Париж на «похороны трупа французского деспотизма». «Я не могу понять, как он видит вещи, — иронически отмечает Вильгельм. — Наши исходные точки всегда, как небо, далеки одна от другой». И он оставляет Кампе одного в комнате, где умер Руссо. Еще через два года неисправимый утопист собрался в Америку. «Не затем, — сообщает на этот раз Александр Гумбольдт, — чтобы осчастливить юношество транспортом детских библиотек и робинзонад, не затем, чтобы изложить дикарям свое новое доказательство бессмертия души

или реорганизовать танцы в Филадельфии на началах целомудрия. Нет, он хочет изучить американское свободное государство и через год (так долго придется обходиться без него Европе!) сообщить о результатах Старому Свету...»

Клопшток Фридрих Готлиб (1724-1803) — поэт, при жизни достиг величайшей славы. Его признали зачинателем национальной немецкой литературы. Драмы, поэмы, стихи Клопштока будили патриотическую гордость немцев. Он воспевал доблесть древних германцев. Горячо приветствуя французскую революцию и свободу, он написал вместе с тем длинную религиозную поэму «Мессиада», ею восхищались современники, но уже ближайшие потомки считали невозможной задачей прочитать «Мессиаду» от первого до последнего стиха.

Кук Джемс (1728-1779) — один из величайших мореплавателей XVIII столетия. Своими тремя кругосветными путешествиями (1768-1771, 1772-1775, 1776-1779) Кук сильно обогатил географические знания — главным образом о южной части Тихого океана и высоких южных широтах. Он установил, что Новая Зеландия — это два острова, обследовал восточный берег Австралии, открыл Новую Каледонию, южные Сандвичевы и много других островов. Посылало Кука английское адмиралтейство: он отворял дверь колонизаторам. В первом плавании Куку сопутствовал Джозеф Банкс, натуралист, с которым Гумбольдт виделся в Англии. Во второе свое плавание Кук пригласил Рейнгольда Форстера с сыном его, восемнадцатилетним Георгом.

А в третьем плавании на Гавайских островах Кука убили туземцы.

Кунт Готлоб Иоганн Христиан (1757-1829) — сын протестантского пастора, воспитатель обоих Гумбольдтов, потом их друг. Дослужился до высоких

чинов и, трудолюбивый, честный, трезво-рассудительный, стал сотрудником барона Штейна, стремившегося превратить феодально-абсолютистскую Пруссию в конституционную монархию. Умер Кунт тайным советником. Племянник его Карл Кунт (1788–1850) — ботаник директор берлинского ботанического сада. Именно он обработал большую часть американских ботанических коллекций Гумбольдта.

Лавуазье Антуан Лоран (1743–1794). Работами Лавуазье был означен рубеж между старой, еще в значительной мере средневековой, химией и химией новой, строго научной. Лавуазье продолжил, а частично повторил, то, что перед ним сделал Ломоносов, которому по праву принадлежит честь зачинателя коренного преобразования химической науки. Точная мера и вес стали верховным правилом всякого эксперимента. Вне всякого сомнения поставлен закон сохранения вещества (массы). Установлен ряд азбучных, с нашей точки зрения, основоположных фактов. Вода не превращается в землю, и землистый осадок на дне стеклянного сосуда, в котором долго кипятят воду, это продукт разъедания стекла. Горение — это бурное соединение горящего тела с кислородом. То был конец мифа о флогистоне, невидимом, полумистическом, который будто бы выделяется из горящих тел и устремляется вверх, не подчиняясь даже закону тяготения. Дыхание же — медленное горение: вот откуда животная теплота, тепло живого тела. Таково замечательное материалистическое предположение Лавуазье. Он разложил воду на водород и кислород. С химиками Бертолле, Гюитоном де Морво и Фуркруа разработал ту научную номенклатуру, которая с тех пор заменила старинные, причудливые, еще от алхимиков идущие названия веществ, соединений, химических действий. Лавуазье начал широко употреблять химические уравнения.

Сын прокурора Парижского парламента, откупщик, наживший на аренде налогов громадное состояние, сторонник монархии, урезанной, конституционной, Лавуазье был вместе с другими откупщиками предан суду революционного трибунала и гильотинирован.

Ламарк Жан Батист Пьер Антуан (1744-1829) — сначала ботаник, потом выдающийся зоолог, специалист по беспозвоночным (самый термин принадлежит Ламарку). Но главную славу Ламарка составляет разработанная им первая научная теория эволюции (1809). Растения и низших животных изменяет прямым воздействием среда. Животные с развитой нервной системой приобретают под влиянием изменившейся среды или попадая в другую среду новые привычки. Органы, которыми они перестают пользоваться, мало-помалу атрофируются, исчезают. Органы, усиленно употребляемые, из поколения в поколение увеличиваются в силе и размерах. Но как впервые появляется тот или иной орган? Отчего зависит общий прогресс, повышение организации живых существ — проходит геологическое время, и на Земле низшие животные превращаются в высших? Ламарк был вынужден допустить некое стремление к совершенствованию. Именно оно подымает организмы со ступеньки на ступеньку биологической лестницы. Все реакционное в науке обрушилось на Ламарка. Взгляды его высмеивали. На него ополчился Кювье. Наполеон встретил Ламарка, когда он передал императору свой главный труд «Философию зоологии», грубым окриком: «Стыдитесь, старик!»

В нищете, ослепший, Ламарк диктовал свои последние сочинения дочерям. Заслуги его оценены много позже. Воззрения Ламарка оказали сильное воздействие на биологию. В них есть материалистическое ядро и произвольные, идеалистические допущения. Живой мир не вытянут по

одной лестнице совершенства — это скорее пышно ветвящееся дерево. Почему это так, объяснил Дарвин. Но главные положения Ламарка — изменяющее влияние среды, а также наследование приобретенных признаков, свойств — и по сей час остаются в центре внимания биологов.

Ландтаги — в княжествах средневековой Германии съезды сословных представителей: дворянства, духовенства, городов.

Лаплас Пьер-Симон (1749–1827) — французский астроном, математик и физик. Своей знаменитой космогонической гипотезой показал, что не нужно признавать ничего, кроме естественных сил, чтобы понять возникновение и существование солнечной системы. Космогоническая гипотеза эта, объясняющая, как солнце и планеты могли образоваться из первоначальной туманности (все это до деталей превосходно математически обосновано Лапласом), просуществовала в науке почти сто лет. Известен гордый ответ Лапласа Наполеону, спросившему его, почему он в своей небесной механике не оставил места для божества: «Я не нуждался в этой гипотезе!»

Либих Юстус (1803–1873) — выдающийся немецкий химик-органик. Стали знамениты его работы по агрохимии, по исследованию плодородия почвы, по удобрениям, — правда, все это Либих рассматривал с узко химической точки зрения, много высказал важного, но во многом ошибался. Ошибался он, в частности, ставя истощение почвы в прямую зависимость от того, будет ли полностью возвращено земле взятое у нее растениями. Либиху принадлежат химические теории брожения и гниения. Либих еще молодым человеком встречался с Гумбольдтом в Париже — в 1822–1824 годах он работал у Гей-Люссака.

Линней Карл (1707–1778) — великий шведский естествоиспытатель, создатель Шведской академии

наук и первый ее президент. Родившийся за два года до полтавской битвы в семье провинциального пастора, в стране, потрясенной войнами Карла XII и конечным разгромом, Линней начал жизнь трудно и бедно. Страсть к изучению природы он перенял от отца. Впрочем, видел Линней лишь природу Швеции, Лапландии и Голландии. Но человек громадного трудолюбия и ясного, «геометрического» мышления, он построил в своих книгах систему всей природы, охватил всю флору и фауну земного шара. Это был невиданно стройный порядок, впервые внесенный в живой мир. «В географии мы признаем, — пишет Линней, — государство, область, территорию, округ, селение. В военных науках — легион, когорта, манипул, товарищество и война». Так и классы в живом мире дробились на порядки, порядки на роды, роды на виды. Каждое живое существо обозначалось двойным латинским термином — род и вид (бинарная номенклатура). Каждое получало свое незыблемое место. «Система эта — ариаднина нить, без нее... хаос».

«Система природы» Линнея имела гигантское значение в истории науки. Во всех странах «гербаризировали» с его книгой в руках. При жизни Линнея книга эта издавалась двенадцать раз — он каждый раз дополнял ее. И хотя описал он всего 4 208 видов животных и вдвое больше растений (а мы считаем около полутора миллионов видов животных и около 400 тысяч видов растений), множество наименований, впервые данных Линнеем, бинарная номенклатура, общая система подчиненных друг другу разделов классификации — все это сохранилось в науке до сих пор. Предельной рациональной ясности (вполне в духе философов-просветителей XVIII века) и удобообозримости всей системы Линней достигал, группируя виды по какому-нибудь четкому признаку. Система выходила искусственной — сирень и некоторые злаки оказывались соседями, страус, павлин и курица

попадали в один порядок. Что это «создание чистого разума», понимал и сам Линней. Но настоящего кровного родства между видами он и не мог искать. «Столько насчитываем видов, сколько вначале сотворило бесконечное существо», — утверждал он.

Орифламма («золотое пламя») — священное знамя с тремя длинными концами, которое нес в бою французский рыцарь-знаменосец подвешенным к пике.

Питты — английские государственные деятели. Вильям Старший (1708–1778), один из главных организаторов Семилетней войны. И Вильям Младший (1759–1806), речь которого Гумбольдт слышал в Англии, — премьер-министр, установивший в стране режим полицейского произвола, жестоко подавивший восстания во флоте и в Ирландии, усиливший колониальное закабаление Индии. Всячески стремясь ослабить Россию и поддерживая ее врагов, ненавидел революционную, а затем императорскую Францию и умер, как были уверены современники, не вынеся поражений в борьбе с Наполеоном.

Реймарус Герман Самуэль (1694–1768) — умеренный представитель немецкого Просвещения, отстаивал «разумную религию»: божественная справедливость правильно устроила вселенную, но больше не вмешивается в дела природы.

Розенкрейцеры — члены тайного религиозно-мистического масонского общества. Эмблема их была роза и крест. Розенкрейцеры распространились по Германии, Нидерландам, были и в России. Они окружили трон Фридриха Вильгельма II прусского, двое розенкрейцеров стали министрами.

Сольфатары — от собственного имени полупотухшего вулкана вблизи Неаполя — обозначение продуктов деятельности замирающих вулканов (сольфатарная стадия), выделяющих сернистые газы и пары.

Туаз — старая единица измерения длины до введения метрической системы. Французский туаз — 1,949 метра.

Фуркруа Антуан Франсуа (1755–1808) — химик эпохи французской революции из блестящей плеяды реформаторов всей системы химических знаний. Педагог, писатель, страстный пропагандист новых научных воззрений, организатор множества средних и высших школ. Депутат конвента.

Цианограф (сейчас обычнее — цианометр) — прибор со шкалой для определения цвета ясного дневного неба (от белого через голубой до синего). При этом дается точное количественное измерение цвета, как это принято в колориметрии.

Шеридан Ричард Бринсли (1751–1816) — английский драматург, автор не сходящей со сцены комедии «Школа злословия», член парламента от радикального крыла партии вигов. Сочувственно встретил революцию во Франции.

Штейн Генрих Фридрих Карл (1757–1831). С именем Штейна интеллигенция и буржуазия связывали надежды на обновление Пруссии. Он стал канцлером в 1807 году, когда надо было подготовить страну к борьбе с Наполеоном. За год девять месяцев Штейн провел ряд важных реформ, среди них — освобождение крестьян от личной крепостной зависимости (все повинности остались). Но в 1808 году Наполеон приказал сместить его. Штейн покинул Пруссию, и Фридрих-Вильгельм III, уже от себя, конфисковал его имущество. В 1812 году Штейн в Петербурге создает «немецкий комитет». С русскими войсками он возвращается в Германию и пытается добиться от Венского конгресса возможно большего единства ее. Черная реакция, начавшаяся в Пруссии, означала конец его государственной деятельности.

Обзор литературы

Книги об Александре Гумбольдте печатались еще при его жизни. Сам он просмотрел и дополнил одну из своих биографий — она стала, таким образом, его автобиографией (журнал *Gegenwart* Bd. VIII, 1853).

В 1851 году вышло первое издание книги Н. Klencke. A. V. Humboldt. Ein biographisches Denkmal (биографический памятник).

Лучшая, трехтомная биография:

Karl Bruhns. Alexander v. Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie. Im Verein mit R. Avé-Lalleman, I. v. Carus, A. Dove, H. W. Dove, I. W. Ewald, A. H. R. Griesebach, I. Löwenber, O. Peschel, G. H. Wiedemann, W. Wundt. Leipzig, 1872.

Otto Ule, A. v. Humboldt. Biographie für alle Völker der Erde (для всех народов Земли). 3 Aufl. Berlin, 1869.

W. C. Wittwer. A. v. Humboldt. Leipzig, 1861.

В 1859 году Циммерманом была издана «Книга Гумбольдта» (Humboldt-Buch).

В последующие десятилетия мы не находим о Гумбольдте почти ничего, кроме незначительных биографических очерков в сборниках и энциклопедиях, да книги Клетке, отмечающей столетие американского путешествия. Если и пишут о Гумбольдте, то скорее о Вильгельме. Александр же, кажется, навсегда сдан в архив истории.

Близится столетие со дня его смерти. И положение меняется. Во многих странах резко растет интерес к Александру Гумбольдту. Выходят монографии за монографией (прежде всего — в ГДР). В столетнем отдалении уже ясно видно, что жизнь и работа именно Александра Гумбольдта — феноменальное явление в истории культуры. О нем пишут, как о чуде, в способах

его работы, его «картине мира» отыскивают черты живого, актуального для исканий и устремлений сегодняшней науки, взгляд в завтрашний, а не вчерашний день ее.

Rudolf Borch A. v. Humboldt. Berlin, 1948. (Его жизнь в собственных свидетельствах, письмах и сообщениях).

Willy Möbus. A. V. Humboldt. Der Monarch der Wissenschaften (Царь наук). Berlin u. Stuttgart, 1948.

Mario Kramer. A. v. Humboldt. Mensch, Zeit, Werk. (Человек, время, дело). Berlin, 1951.

Herbert Scuria. A. v. Humboldt. Berlin, 1955.

Friedrich Muthmann A. v. Humboldt und sein Naturbild in Spiegel der Goethezeit. (Его картина природы в зеркале времени Гёте) Zürich и. Stuttgart, 1955.

Helmut de Terra. The Life and Times of A. v. Humboldt. New-York, 1955.

Укажем, русскую литературу о Гумбольдте:

С. Ф. Лугинин. А. Гумбольдт. СПб., 1860.

А. С-кий. А. ф. Гумбольдт... «Вестник Европы» № 9, 10, 12 за 1870.

М. А. Энгельгардт. А. Гумбольдт. Его жизнь, путешествия и научная деятельность. СПб., 1891 (в Павленковской серии «Жизнь замечательных людей»).

В. Сафонов. Александр Гумбольдт, М., 1936.

Русскому переводу I тома «Центральной Азии» (М., 1915) предпосланы две очень ценные работы, из которых первая — обширная монография объемом 230 стр.

Д. Н. Анучин. Александр фон Гумбольдт как путешественник и географ и в особенности как исследователь Азии.

В. А. Обручев. Изменение взглядов на рельеф и строение Центральной Азии от А. ф. Гумбольдта до Эд. Зюсса.

Сборнику некоторых ботанических сочинений Гумбольдта, озаглавленному «География растений»

(ОГИЗ — Сельхозгиз, М.-Л., 1936) предпослана краткая биография Гумбольдта и статья о роли его в ботанике, написанные профессором Е. В. Вульфом.

О русском путешествии Гумбольдта написал двухтомную книгу его спутник, профессор Густав Розе: *Miner alogisch — geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere*. Berlin, 1837-1842.

Вторая книга написана Kletke. *Humboldt's Reisen im europäischen und asiatischen Russian a. 2 B-de. 3 Aufl.* 1859.

Отчет Меншенина помещен в «Горном журнале» за 1830 год.

Множество сообщений о Гумбольдте можно найти в тогдашних русских газетах и журналах (в том числе в «Литературной газете», фельетон кн. П. А. Вяземского «Новая тяжба о букве „ъ“» — о сомнениях, будто высказанных Гумбольдтом по поводу твердого знака). Затем — в отчетах (*Recueils des Actes*) Академии наук, в Бюллетене о-ва испытателей природы (там же подробный отчет на французском языке о чествовании Гумбольдта 26 октября).

Описание торжественного заседания Академии наук издано отдельно:

Séance extraordinaire tenue par l'Académie Imperiale des Sciences de St. — Pétersbourg en l'honneur de M. le Baron Al. de Humboldt du 16 Novembre, 1829. СПб., 1829.

О Гумбольдте часто пишет в своем дневнике историк и писатель М. П. Погодин, сообщает в письмах известный А. Я. Булгаков (тогдашний начальник почты).

Укажем еще:

Д. М. Перевощиков. Ответы на вопросы Гумбольдта, 1837.

И. А. Шмаков. Гумбольдт на Урале в 1829 г. («Русская старина», 1890, т. 65).

Н. Мельгунов. Барон Александр Гумбольдт. Из путевых записок («Отечественные записки», 1839, т. VII).

А. С-кий. Гумбольдт о России и последние его труды («Вестник Европы», 1871, № 7).

О встрече Гумбольдта с декабристом Семеновым — «Записки декабриста Н. И. Лорера». Соцэкгиз, 1931.

Письмо Ермолова (адъютанта генерал-губернатора Вельяминова) о его поездке с Гумбольдтом по Сибири опубликовано в № 8 «Русского архива» за 1865 год.

Очень важна для понимания личности Гумбольдта, характеристики времени, научных идей, среды и людей, связанных с Гумбольдтом, его переписка. Им написаны тысячи писем. Напечатана в Париже, в 1865 году, его корреспонденция научная и литературная, собранная де ля Рокеттом. Изданы письма Гумбольдта брату Вильгельму (дважды — в 1880 и 1923 годах), Варнгагену фон Энзе (Лейпциг, 1860), физику Бунзену (Лейпциг, 1869), юношеские письма Вегенеру (Лейпциг, 1896), сборники переписки с Берггаузом, с Гёте (в 1876 и в 1909 годах), с Гауссом, с русским министром Канкринным (Im Ural und Altai. Briefwechselzwischen Alexander von Humboldt und Graf Georg von Cancrin aus den Jahren 1827-1832. Leipzig 1869) и некоторые другие.

Об авторе

Вадим Андреевич Сафонов родился в 1904 году в Керчи в семье инженера-путейца. Трудовую жизнь начал с шестнадцатилетнего возраста — работал в порту, на деревенской мельнице, на ихтиологических станциях.

Затем, учась в Москве, начал работать в газетах. В 1930–1936 годах вел научную и преподавательскую работу как биолог.

С 1941 года — член Союза советских писателей.

Первая книга В. Сафонова «Ламарк и Дарвин» вышла в 1930 году в издательстве «Молодая гвардия». С тех пор им написано свыше двадцати книг, из них наиболее значительные «Победитель планеты» (1933), «Александр Гумбольдт» (1936), «Власть над землей» (1941), «Дорога на простор» (1945), «Загадка жизни» (1946), «Земля в цвету» (1948 — за эту книгу В. Сафонов удостоен Сталинской премии), «Люди великой мечты» (1955), «Путешествия в Неведомое» (1956), «Избранное» (1957), «Путешествие в чужую жизнь» (1958).

Некоторые книги В. Сафонова переведены на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

notes

Примечания

1

Слова Энгельса в «старом введении» к «Диалектике природы».

2

В «Эмиле, или о воспитании» Руссо высказал свои идеи о естественном воспитании.

З

И Петрарка цитируется, конечно, по-итальянски.

4

Нынешняя столица Венесуэлы.

5

Превосходительство.

6

Позднее Перевощиков напечатал «Ответы на вопросы Гумбольдта».

«Den Dank für das Geschenk eines schönen Säbels mit damascirter Klinge muss ich wohl an Ew. Excellenz richten!»

Привожу эту фразу в подлиннике, потому что в нашей литературе появились совершенно неправильные утверждения, будто именно Гумбольдт чуть ли даже не «открыл» великого русского металлурга, сообщив в Петербурге о «первоклассной сабле с дамасским клинком», или, как значится в книге другого автора, написав «из Златоуста», что он «неожиданно получил чрезвычайно ценный подарок: меч, выкованный из булата. Булат этот выплавлен по способу инженера Аносова. На клинке явственно видны красивые желтоватые узоры, что является несомненным свидетельством, что это настоящий булат».

Точно так же, в предуведомлении к первому русскому переводу «Картин природы», изданному в 1835 году, отмечалось: «Читая творения его, думаешь, что это соединенные труды целого ученого общества...»

9

Словами «Средняя Азия» И. В. Мушкетов обозначает то, что мы сейчас, как и Гумбольдт, называем Центральной Азией.

Напомним, что по современному учению о строении азиатского материка, развитому в замечательных трудах академика В. А. Обручева и других советских ученых, нет, конечно, никакой геометрической крестовины хребтов; щиты и платформы, как древние «ядра» материка, обширные складчатые области, мощные пояса нагорий с центрами и узлами дугообразных горных цепей входят в гораздо более сложную, чем думал Гумбольдт, хотя в то же время ясную геологически и закономерную картину структуры Азии. Во внутренней Азии сейчас нет действующих вулканов.

Даты русского путешествия указаны по старому и новому стилям.